

КЛБЯ
ЭРЕНБУРГ

БУРТА
ЖУВЭТБ

РАВАЗИКА
РОИТШВАДЕЛА

РОМАН

ИЛЬЯ

ЭРЕНБУРГ

Бурная
жизнь
Лазика
Ройтшвард
Денец

РОМАН

Москва
Советский писатель • Олимп
1991

БИБЛИОТЕЧКА «ОЛИМПА»

Печатается по изданию:
Илья Эренбург, «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца»
Берлин, «Петрополис», 1929

Оформление

Бориса ЖУТОВСКОГО и Ирины БОРОЗДИНОЙ

Эренбург И.Г.
Э 76 Бурная жизнь Лазика Ройтшванца: Роман. —
Советский писатель • Олимп, 1991. — 208 с.
ISBN 5—265—02271—6

«Бурная жизнь Лазика Ройтшванца» — один из лучших романов Ильи Эренбурга. Написанный в 1927 году в Париже, за прошедшие десятилетия он многократно издавался за рубежом на разных языках мира. В нашей стране отдельной книгой роман выпускается впервые.

Издание приурочено к столетию со дня рождения И.Г.Эренбурга.

Э $\frac{4702010201 - 010}{083(02) - 91}$ без объявл.

ББК 84 Р7



Можно сказать, что вся бурная жизнь Лазика началась с неосторожного вздоха. Лучше было бы ему не вздыхать!..

Но неизвестно, о каком Лазике идет речь. Лазиков много — хотя бы Лазик Рохенштейн, тот, кто в клубе «Красный Прорыв» изображал императора Павла и естественно при этом хрюкал (а штаны, кстати, — на пол, штаны были журавлевские); или же Лазик Ильманович, секретарь уездного комитета, обжора, каких мало, в прошлом году, не боясь партгистки, лопал мацу с яйцами и еще, нахал, на губздрав ссылался, якобы питательность велика, к тому же не образует газов.

Вот и в Одессе прозябает какой-то Лазик. Читал я там лекцию о французской литературе. Записок, как полагается, ворох, здесь и «какого вы класса будете», и «расскажите нам лучше об экспедиции товарища Козлова», и «отвечай, цюцкин внук, за сколько фунтов проданся», и такая вот: «Шапиро, погляди-ка, Лазик уже спит». Я, хоть и не Шапиро, полюбопытствовал. Народу, однако, много; так и не разыскал я этого сонливого Лазика, не знаю даже, кто он, одно ясно — невежа, другие учатся, а он дрыхнет.

Нет, Лазик Ройтшванец никогда не падал так низко.

Знаю я, сразу скажут: «А фамилия у него того...» Не спорю, бывают фамилии и покрасивей, даже среди «мужеских портных» Гомеля, не говоря уже о православном духовенстве. Например, Розенблум или Апфельбаум. Но кто же обращает внимание на фамилию?

Наконец, что стоило Лазику стать в наши дни хоть самим Спартаксом Розалюксембургским? Ведь превра-

тился же счетовод «Беллеса» Онисим Афанасьевич Кучевод в Аполлона Энтузиастова. Это дело двух рублей и вдохновения. Если не польстился Лазик Ройтшванец на какое-нибудь плодовое дерево, были у него, разумеется, свои резоны. Крепко держался он за невзрачную фамилию, хоть барышни и взвизгивали: «Ай-ай-ай!..»

Фамилия входила в разумный план его жизни. Чьи портреты красовались над крохотной кроваткой Лазика? Ответить трудно. Сколько портретов — вот что спрошу я. Да никак не менее сотни. Всем известно, что гомельские портные любят украшать стены разными испанскими дезабилье. Но Лазик был не дурак. Красоток он разглядывал, сидя в гостях, а свои стенки покрыл портретами, вырезанными из «Огонька».

Вот тот мужчина с рачьими глазищами — знаете, кто это? Пензенский делегат «Доброхима». А юноша в купальном костюмчике, задравший к солнцу ляжку, — это знаменитый пролетарский бард Шурка Бездомный. Направо — международные секции. Не узнаете? Бич португальских палачей Мигуэль Траканца. Налево? Тс-с!.. Закоренелый боец, товарищ Шмурыгин — председатель гомельской... Поняли?

Правда, к этим вдохновенным портретам примазалась фотография покойной тети Лазика Хаси Ройтшванец, которая торговала в Глухове свежими яичками. Среди мраморных колоннад бедная тетя Хася глядела перепуганно и сосредоточенно, чуть приоткрыв ротик, как курица, готовая снести яйцо. Однако и на нее Лазик как-то показал ответственному съемщику Пфейферу:

— Это вождь всех пролетарских ячеек Парижа. У нее такой стаж, что можно сойти с ума. Вы только поглядите на эти глаза, полные последней решимости...

Днем бойцы охраняли Лазика; по ночам они пугали его. Даже португальский бич среди подозрительной тишины вмешивался в личную жизнь Ройтшванца: «Ты скрыл от фининспектора брюки Пфейфера, коверкот заказчика и галифе Семке из своего материала... А ты знаешь, что такое Соловки? Значит, гомельский портной хочет, между прочим, в монастырь? Ты показал восемьдесят вместо ста пятнадцати. Очень хорошо! А в Соловках може б'ть сто градусов мороза. Да, это тебе, Лазик Ройтшванец не Португалия!» И бич саркастически щелкал.

Шурка бездомный кричал страшные слова, как в клубе «Красный Прорыв» кустарей-одинок, явно намекая

и на пфейферские брюки и на Соловки: «Фиговый листок надеваешь, сукин лорд? Мы тебе покажем, сумасшедший полюс!..»

Даже тетя, добрая тетя Хася, которая на «хануке» дарила маленькому Лазику гривенник, и та осуждающе ку-дахтала: «Как же ты? Ах!..» Лазик зарывался в одеяло.

Портретов, однако, он не снимал. Он умел быть стойким до конца, вот как товарищ Шмурыгин. Мало, скажете, он страдал за свои принципы? Он вызубрил наизусть шестнадцать стихотворений Шурки Бездомного о каких-то ненормальных комбригах, которые «умирают с победоносной усмешкой на челе».

Он не остановился и перед рукой цирюльника Левки, в одну минуту превратившей его добродушную робкую физиономию в поганое лицо заядлого изверга. Что делать — в клубе «Красный Прорыв» ставили пьесу товарища Луначарского. Лазик не был саботажником. Изверг? Пусть изверг! Он даже лез на Сонечку Цвибиль и делал вид, что ее кусает, хоть ему было противно. Что общего, скажите, между гомельским портным и какой-то взбесившейся собакой? К тому же у Сонечки муж в милиции, и хоть собачьи прыжки — дело государственное, Лазик не знал, как отнесется гражданин Цвибиль к подобной симуляции. Но Лазик не хотел отставать от своего века. Он храбро рычал и скалил зубы. Он низко кланялся всем кустарям-одиночкам, которые хохотали: «Ой, какой этот Ройтшванец дурак!» Он приговаривал: «Товарищи, душевное мерси». Он все вынес.

Вот и фамилия... Почему Раечка прогнала его? Из-за прыщика? Спросите Лазика, он вам ответит: «Прыщик — глупости, прыщик всходит и заходит, как какой-нибудь гомельский комиссар». А фамилия... Можно ли гулять под ручку с человеком, у которого такая глупая фамилия? «С кем идет Раечка?» — «Да с Ройтшванцем...» — «Хи-хи».

Ничего! Пусть смеются, Лазик хитрее их. Когда Лазика вызывали для заполнения сорок седьмой анкеты, товарищ Горбунов, рыжий из комхоза, спросил:

— Фамилия?

— Ройтшванец.

— Как?

— Ройтшванец. Простите, но это опытно-показательная фамилия. Другие теперь приделывают себе слово «красный», как будто оно у них всегда было. Вы нездеш-

ний, так я могу вам сказать, что столовая «Красный уют» была раньше всего-навсего «Уютом», а эта улица Красного Знамени называлась даже совсем неприлично — Владимирской улицей. Если вы думаете, что «Красные бани» всегда были «красными», то вы, простите меня, ошибаетесь. Они «покраснели» ровно год тому назад. Они были самыми ужасными «Семейными банями». А я от рождения — Ройтшванец, об этом можно справиться у казенного раввина. В самой фамилии мне сделан тонкий намек. Но я вижу, что вы ничего не понимаете, так я объясню вам: «Ройт» — это значит «красный».

Товарищ Горбунов усмехнулся и со скуки спросил:

— Так... А что же значит «шванец»?

Лазик пренебрежительно пожал плечами.

— Достаточно, если половина что-нибудь значит. «Шванец» это ничего не значит. Это пустой звук.



Нет, не из-за фамилии погиб Лазик. Всему виной вздох. А может быть, и не вздох, но режим экономии, или жаркая погода, или даже какие-нибудь высокие проблемы. Кто знает, отчего гибнут гомельские портные?..

Жара стояла в тот день действительно редкостная. Сож мелел на глазах у гомельчан. Зато следователь Кугель сидел весь мокрый.

Около семи часов вечера Лазик решил направиться к дочери кантора Фенечке Гершанович.

Фенечка пела в клубе «Красный Прорыв» международных мелодий. Собственно говоря, в клуб она вошла хитростью. Какой же кустарь-одиночка Гершанович? Что он производит? Обрезает несознательных младенцев, по три рубля за штуку. Ячейка могла бы легко установить, что Фенечка живет на постыдном иждивении служителя культа.

Старик Гершанович говорил дочери: «Этот Шацман смотрит на меня десять минут не моргая. Одно из двух: или он хочет на тебе жениться, или он хочет, чтоб я уехал в Нарым. Спой им, пожалуйста, сто международных мелодий. Тогда они, может быть, забудут, что я тоже пою. Если Даниил успокоил настоящих львов, почему ты не можешь успокоить этих перекошенных евреев? Ты уви-

дишь, они убьют меня, и я жалею только об одном: зачем я их когда-то обрезал...»

Не знаю, размягчили ли трели Фенечки сердца членов Гомельского губкома, но вот Лазик, слушая их, влюбился, влюбился горячо и безответно. Фамилия, правда, не смущала Фенечку — она держалась передовых взглядов. Но с ростом Лазика она никак не могла примириться. Что остается теперь делать дочери кантора? Мечтать о карьере Мери Пикфорд и танцевать с беспартийными фокстрот. С Лазиком?.. Не скрою: голова Лазика барахталась у Фенечки под мышкой. Правда, Лазик пробовал ходить на цыпочках, но только натер мозоли. Как же здесь выразить пылкие свои чувства? Как невзначай в глухой аллее поцеловать щечку Фенечки: подпрыгнув, и то не достанешь.

Ему было вдвойне жарко: пылало сердце. Он вышел из дому, отутюжив брюки Пфейфера и на всякий случай предупредив соседей:

— Я иду на занятия политграмотой. Если б вы только знали, что такое один китайский вопрос! Это еще труднее, чем книга «Зогар». Будь я Шацманом, я запретил бы кустарям-одиночкам заниматься такими центральными вопросами. Над этим вообще должен думать какой-нибудь последний комитет, а не гомельские портные...

Он вздохнул, но не этот вздох погубил его, даже не следующий, рожденный мыслями о недоступности Фенечки. Он сегодня скажет ей все. Он скажет ей, что Давид был маленький, а Голиаф большая дубина, вроде этого Шацмана. Он скажет ей, что соловей гораздо меньше индейского петуха. Он скажет ей и вполне по-современному, что маленькое организованное меньшинство побеждает или хотя бы временно гибнет. Он скажет...

Наверное, он придумал бы нечто способное убедить даже легкомысленную Фенечку, но вдруг его внимание привлек одноглазый Натик, который сосредоточенно наклеивал на забор бывшего епархиального училища огромную афишу.

Что еще случилось на свете? Может быть, в Гомель приехала гастрольная труппа московской оперетты? Тогда придется разориться на роскошные места: у Фенечки музыкальная натура. Может быть, они придумали какие-нибудь новые отчисления в пользу этой китайской головоломки? Может быть, попросту жулик Дышкин хочет сбить под видом просветительной кампании свои старые письмовники из позапрошлого столетия?

Афиша предназначалась для граждан среднего роста, и Лазик пришлось стать на цыпочки, как будто перед ним была сама Фенечка Гершанович. Прочитав первую же фразу, он вздрогнул и оглянулся по сторонам. Рядом с ним стояла только неизвестная ему гражданка. Артистка московской оперетты? Или уполномоченная по сбору отчислений?

Чем дальше читал Лазик, тем все сильнее дрожал он. Дрожал галстучек в горошинку, дрожала головка на вечном каучуковом воротничке, дрожал в брючном кармане замечательный американский пульверизатор с наилучшей «Орхидеей» производства «Тэжэ», который Лазик собирался преподнести Фенечке, дрожали брюки, необычайные брюки из английского материала (растратчик оставил, после второй примерки сцапали человека без брюк). Дрожали большущие буквы. Дрожал забор. Дрожало небо.

«Умер испытанный вождь гомельского пролетариата товарищ Шмурыгин. Шесть лет красный меч в его мозолистых руках страшил международных бандитов. Но гибнут светлые личности, живы идеи. На место одного становится десять новых бойцов, готовых беспощадно карать всех притаившихся врагов революции...»

Здесь-то Лазик Ройтшванец вздохнул, жалобно, громко, скажу прямо, с надрывом. Пожалел ли он товарища Шмурыгина, скончавшегося от заворота кишок? Или испугался десяти новых бойцов? Где же раздобыть их портреты? Как они отнесутся к полусознательным кустарям-одиночкам? Брюки, утаенные от фининспектора, пфейферские брюки!..

Вздохнув, Лазик пошел дальше. Но он не рассказал Фенечке о посрамленном Голиафе, он не обрызгал ее из американского пульверизатора ароматной «Орхидеей».

Следователь, товарищ Кугель, угрюмо сказал ему:

— Вы публично надругались над светлой памятью товарища Шмурыгина.

— Я только вздохнул, — кротко вздохнул Лазик. — Я вздохнул, потому что было очень жарко и потому что из рук выпал этот мозолистый меч. Я всегда так вздыхаю. Если вы мне не верите, вы можете спросить гражданку Гершанович, а если гражданка Гершанович тоже не годится, потому что она дочь служителя культа, вы можете спросить курьера фининспектора. Он-то знает, как я громко вздыхаю. Я даже скажу вам, что меня хотели прошлой весной выселить из жилтоварищества за надоедли-

вые вздохи. Я занимался по ночам политграмотой и, конечно, вздыхал про себя, а Пфейферы показали, что я нарушаю их трудовой сон...

Товарищ Кугель прервал его:

— Будьте прежде всего кратки. Буржуазия создала наряду с тэйлоризмом пресловутый афоризм: «Время — деньги». В этом сказалось преклонение умирающего класса перед жалким продуктом прибавочной стоимости. Мы же говорим иначе: «Время — не деньги. Время — больше, чем деньги». Вы похитили сейчас у меня, а следовательно, у всего рабочего государства пять драгоценнейших минут. Перейдем к делу: гражданка Матильда Пуке показывает, что вы, прочитав известное вам обращение ко всем трудящимся Гомеля, торжествующе захотели и издали неподобающий возглас.

Здесь Лазик не выдержал, он деликатно улыбнулся.

— Я не знаю, кто это такое гражданка Пуке. Может быть, она глухонемая или совершенно ненормальная. Я скажу вам только одно: я даже не умею торжественно хотеть. Когда я должен был торжественно хотеть в трагедии товарища Луначарского, я вдруг остановился над свежим трупом герцогини и я совершенно замолчал, хоть мне и кричал Левка-суфлер: «Хохочи же, идиот!» Я вас уверяю, гражданин Кугель, что если бы я мог издавать возгласы и торжественно хотеть среди белого дня, да еще на главной улице, я, наверное, не был бы несчастным портным, который шьет кое-что из материала заказчика, я или лежал бы где-нибудь в безответной могиле, или сидел бы в Москве на самом роскошном народном посту...

— Вы симулируете классовую отсталость, но вряд ли это вам поможет. Я предаю вас обвинению по 87-й статье Уголовного уложения, карающей оскорбление флага и герба.

Услышав это, Лазик хотел вздохнуть, но вовремя удержался.



Вздох, хотя бы и пронзительный, еще может быть отнесен к печальным случайностям, но поведение Лазика во время судебного разбирательства заслуживает всемер-

ного порицания. Вот когда оно сказалось, тяжелое наследие прошлого! Ведь не всегда Лазик жил китайским вопросом и другими светлыми идеями. До тринадцати лет, пощипывая свой едва опущенный подбородок, он сидел над каким-то смехотворным Талмудом.

Если два еврея найдут один талес — кому он должен принадлежать? Тому, кто первый его увидел, или тому, кто первый его поднял? Попробуйте-ка решите эту задачу. Подбородок Лазика горел от щипков. Что важнее, рука или глаза? Открытие или работа? Вдохновение или воля? Если отдать тому, кто первый увидел, обидится голова: «Я распорядилась, чтобы рука подняла талес». Если отдать тому, кто первый поднял, обидится сердце: «Я подсказало глазам, что их ждет находка». Если оставить талес на дороге, то пропадет хороший талес, который нужен каждому еврею для молитвы. Если разрезать талес на две части, то он никому не будет нужен. Если пользоваться талесом по очереди, то два еврея возненавидят друг друга, ибо одному человеку просторно даже в желудке у рыбы, а двум тесно даже в самом замечательном раю. Что же делать с этим коварным талесом? Что делать с двумя евреями? Что делать с истиной?

Лучше всего не находить талеса и не думать об истине. Но талес может оказаться на дороге, и стоит человеку остаться с самим собой, будь то даже в хвосте галантерейной лавки или в паршивой уборной, и он начинает думать об истине.

Давно подбородок Лазика покрылся курчавой порослью, давно поросль эта пала, скошенная проворной рукой Левки-парикмахера, давно уж забыл он о палке учителя и о двух евреях, нашедших один талес, но осталась привычка думать над тем, над чем лучше вовсе не думать.

Смешно подозревать Лазика в каких-то суевериях. Ему не было и тринадцати лет, когда он понял, что талес никому не нужен и что лучше найти на дороге двести тысяч или хотя бы три рубля. Он понял, что человек создан из обезьяны, а не из какого-то «подобья», что оперетта гораздо интереснее хоральной синагоги, что Гершанович большой жулик, что ветчина с горошком ничуть не хуже говядины с черносливом и что вообще теперь настоящий двадцатый век.

Лазик как-то уничтожил самого старика Гершановича, показав при этом всю свою преданность чистой науке.

Это было вечером. Фенечка глядела на звездное небо, а Лазик, очарованный бледным личиком девушки, стоял подле не дыша. Тогда-то хитрый Гершанович решил подкопаться под Лазика.

— Мне даже смешно подумать, что ты до сих пор уверяешь, будто бы солнце стоит, а земля вертится. Я не скажу тебе, посмотри на небо в час заката, — может быть, ты вообще слеп, как крот, и ничего не можешь видеть. Я не спрошу тебя, как же Иегошуа Навин мог остановить солнце, если оно вообще не движется, — ты ведь ответишь: меня при этом не было, как отвечают все дураки. Кстати, интересно, был ли ты при том, как обезьяна родила человека? Но я тебе все-таки докажу, что земля стоит на одном месте, и ты ничего не сможешь мне ответить. Хоть ты прикидываешься глупым «Фонькой» из Москвы, ты же изучал когда-то Талмуд, ты знаешь, что разводное письмо нельзя вручить женщине, когда женщина передвигается. Нельзя дать ей развод ни в поезде, ни на пароходе, ни когда она просто гуляет по улице. Если бы земля двигалась, то двигались бы все женщины, потому что женщины живут, кажется, на земле. Тогда никогда нельзя было бы разводиться, значит, земля стоит спокойно на одном месте.

Хоть Лазик был расслаблен близостью Фенечки и роскошью звездного неба, он все же твердо ответил Гершановичу:

— Это рассуждения, простите меня, маленького ребенка. Если глядеть из одного поезда, который идет на другой поезд, который тоже идет, то кажется, что оба поезда стоят. Кто дает женщине развод? Ее муж. Если б он вертелся в другую сторону, тогда б он заметил, что и его жена вертится, но так как они оба вертятся в одну сторону, то мужу, конечно, кажется, что и его жена совсем не вертится. А вообще говоря, разводиться можно даже на американском пароходе, если только там сидит сотрудница загса и это стоит каких-нибудь шестьдесят копеек. Главное, гражданин Гершанович, чтобы была горячая любовь и мотовское сверкание звезд, а остальное — это гербовая марка.

Лазик выговорил это стойко, хоть и знал, что теперь ему будет еще труднее дотянуться до щечки Фенечки, даже встав на цыпочки. Что делать, Лазик был человеком двадцатого века!

Да, но щипанье подбородка, но хитрая улыбочка, но

логика, логика во что бы то ни стало, — они-то погубили честного «мужеского портного».

На первый же вопрос председателя суда, вместо того чтобы, кратко упомянув о своем пролетарском происхождении, опровергнуть гнусную клевету гражданки Пуке, Лазик ответил двусмысленно:

— Виновен? Если я в чем-нибудь виновен, так только в том, что я живу. Но в этом я тоже не виновен. В этом виновны смешные предрассудки и ужасная холера. Если бы не было холеры, не было бы вовсе Лазика Ройтшванца, и тогда я спрошу вас, гражданин председатель, что бы делала эта ненормальная гражданка Пуке? Я родился, потому что смешно было мерить аршином кладбище, потому что было такое несчастье, что его нельзя было измерить никаким аршином. Вы не понимаете, в чем дело? Это очень просто. Тогда была большая холера, такая большая, что почти все евреи умерли, а те, что не умерли, конечно, не хотели умереть. Теперь для этого существует народный губздрав и даже сам товарищ Семашко. Но тогда несознательные евреи думали, что если обмерить кладбище аршином, кладбище перестанет расти. Они мерили и мерили, а кладбище росло и росло. Тогда они вспомнили, что если нельзя надуть смерть, можно ее развеселить. Они нашли самого несчастного еврея, Мотеля Ройтшванца. У него не было за душой медной копейки. У него была только печальная фамилия. Он стирал постыдное белье, и в Пуриим он разносил из дома в дом роскошные подарки за какие-нибудь пять копеек. Словом, он мог бы преспокойно умереть от холеры, и никто бы не жалел об этом. Но он как раз не умер. Богатые евреи нашли Мотеля Ройтшванца, и они нашли самую несчастную девушку. Они сказали: «Мы дадим вам тридцать рублей, мы дадим вам курицу и рыбу, но вашу свадьбу мы справим на кладбище, чтобы немножко развеселить смерть». Я не знаю, веселилась ли смерть и веселились ли евреи, ведь у жениха был кроме печальной фамилии большущий горб, а невеста была, говоря откровенно, хромая. Я не знаю даже, кончилась ли холера, но одно я знаю, что родился я, Лазик Ройтшванец, и в этом, кажется, единственная моя вина.

— Может быть, вы все же скажете нам, что вы делали одиннадцатого июля в семь часов пополудни?

— Я шел к члену клуба «Красный Прорыв», к товарищу Фене Гершанович. Перед этим я утюжил брюки, а по-

сле этого я сидел, как настоящий злодей в тюрьме с решеткой.

— Однако, прочитав обращение к трудящимся, вы демонстративно выразили свои контрреволюционные чувства.

— Как я мог выразить свои чувства, если я их вообще не выражаю? Вы думаете, что я торжественно хохотал, когда пали цепи самодержавия и когда околоточный Богданов сидел у нас на дворе под кадкой? Нет, я и тогда говорил себе: пусть издает возгласы Левка-парикмахер — он все равно ничего другого не умеет делать. Я не выражал, хотя тогда все выражали: даже Богданов вылез из-под кадки и тоже выражал. Я — сплошная загадка, и ни гражданка Пуке, ни вы, гражданин прокурор, никто на свете не знает, какие у меня, может быть, в душе чувства. Кому интересно, что у маленького портного внутри? А если вы все-таки будете настаивать, я прямо скажу вам: можно вывернуть пиджак, но не душу. Я шел к товарищу Гершанович, и я ровно ничего не выражал. Вы спросите, почему я вздохнул, прочитав это «Обращение ко всем трудящимся»? Как же я мог не вздохнуть? Ведь это же было воззвание для вздохов. У меня висел на стене портрет товарища Шмурыгина. Я занимаюсь политграмотой. Я могу сказать вам наизусть хоть сейчас все произведения товарища Шурки Бездомного. Если же случилось такое несчастье, и я, Лазик Ройтшванец, попал на эту черную скамейку подсудимых, то я вам признаюсь, что пфейферские брюки я действительно скрыл от гражданина фининспектора. Я показал восемьдесят вместо ста пятнадцати. Это составляет ровно тридцать пять рублей разницы. За это меня можно оштрафовать, и я только тихонько вздохну, как тогда у забора. Но нельзя меня судить за оскорбление герба и флага, когда там не было ни герба, ни флага, а всего-навсего гражданка Пуке, и то я ее ничем не оскорблял.

Однако Матильда Пуке, женщина с бледно-зелеными меланхолическими глазами и со стажем в девять месяцев, повторила показания, данные ею на предварительном следствии: подсудимый подбежал к воззванию, прочитал его и, нагло расхохотавшись, издал бесстыжий возглас, который, ввиду кампании по борьбе с хулиганством, не надлежит даже воспроизводить. Выслушав все это, Лазик подмигнул председателю:

— Я же говорил, что она или ненормальная, или глу-

хонемая. Натик действительно наклеил бумажку. Я действительно подошел и прочитал. Зачем же наклеивают бумажку? Чтоб ее, кажется, читали. После этого я вздохнул. Откуда вы знаете, может быть, мне стало жалко товарища Шмурыгина? Разве это так просто, умереть от заворота кишок? И потом, я очень хорошо понимаю, что такое надгробная скорбь в масштабе губернского города. Если когда-то могли на кладбище справлять свадьбу, то ведь это было в позапрошлом столетии, и потом, тогда была холера, а теперь у нас нет никакой холеры, теперь у нас только хозяйственное возрождение и китайский вопрос. В старом хедере меня учили Талмуду. Это, конечно, обман, и с тех пор я прочел уже всю «Азбуку Коммунизма». Но даже в этом неприличном Талмуде сказано, что когда все смеются — смейся, а когда все плачут — плачь, когда все читают Библию, не вздумай, пожалуйста, читать Талмуд, и когда все читают Талмуд, забудь, что на свете существует Библия. Неужели же вы думаете, что я, Лазик Ройтшванец, который пережил восемь разнообразных режимов, не знаю такой простой вещи? Сдавали швейные машины, и я сдавал. Радовались успехам проснувшегося турка, и я радовался. Наклеили эту афишу, и я вздохнул. Чего же вы от меня хотите с этой сумасшедшей Пуке?..

Повторяю, Лазик сам себя погубил, и легко понять одного народного заседателя, который мрачно буркнул другому:

— Он глуп, но хитер. Он заговаривает зубы.

Речь прокурора, товарища Гуревича, была кратка и выразительна:

— Гражданин Ройтшванец — гнилой продукт клерикального оскотления личности. Он хочет на словах влить новый сок в старый мех, но, конечно, это типичное шкурничество. Неожиданное признание в злостном обмане органов государственной инспекции кидает новый свет на этого переодетого волка. Его заверения, что звание было вывешено для каких-то вздохов, всецело совпадают с инсинуациями белогвардейской прессы, в то время как бескорыстные показания гражданки Пуке продиктованы исключительно ее классовой совестью. На основании всего этого я считаю необходимым, не отсекая совершенно больной ветки и не ставя вопроса о социальной опасности, подвергнуть гражданина Ройтшванца исправительной каре.

Правозаступник, товарищ Ландау, наоборот, отличался многословием. Битый час говорил он. Кажется, только Лазик и слушал его.

— Современной науке известны галлюцинации слуха, так сказать, акустические миражи пустыни. Арабы видят оазисы. Узник слышит пение соловья. Я не хочу кидать тень на гражданку Пуке. Но я подвергаю ее слова строго научному анализу. Конечно, Лазик Ройтшванец — дегенерат. Я настаиваю на медицинской экспертизе. То, что он называет «вздохами», — чисто патологическое явление. Быть может, мы имеем дело с тяжелой наследственностью. Брак, заключенный на кладбище, согласно евгенике, способен дать ненормальное потомство. Я взвешиваю все факты, и на чашу весов падает его исключительное происхождение. Вы должны обвинить еврейскую буржуазию, создавшую талмудические школы и другие средства порабощения пролетариата, вроде оскорбительных венчаний среди могил, но в порыве великодушия победившего класса вы должны оправдать этого несчастного кустаря-одиночку!

С осторожностью председатель спросил Лазика, не хочет ли он что-нибудь добавить ко всему сказанному им прежде. Утомленный красноречием товарища Ландау, председатель явно побаивался словоохотливого подсудимого. Но Лазик понял, что дело его проиграно. Он больше не оспаривал показаний гражданки Пуке.

— Что же мне сказать после стольких умных речей? Когда лев разговаривает с тигром, кажется, зайцу лучше всего молчать. Я хочу только внести одно маленькое предложение. Товарищ Гуревич партийный и товарищ Ландау тоже партийный, и у них вышла между собой небольшая дискуссия, как у нас в клубе кустарей-одиночек. Так я им предлагаю мировую. Если, например, товарищ Гуревич хочет, чтобы меня посадили на шесть месяцев, а товарищ Ландау хочет, чтобы меня вообще отпустили домой, то я предлагаю сделать равное деление и посадить меня на три месяца. Тогда все будут довольны, даже гражданка Пуке. А если я буду недоволен, то я же утаил пфейферские брюки и все равно я, как сказал товарищ Гуревич, гнилой продукт. Конечно, я предпочитаю, чтобы вы послушались товарища Ландау и отпустили меня домой. Я даже обещаю никогда больше не вздыхать и заниматься одной китайской проблемой всю мою недолговечную жизнь. Но, с другой стороны, я боюсь, что вы мо-

жете послушаться товарища Гуревича. Это же сплошная лотерея! И тогда мне будет совсем плохо. Вот поэтому я предлагаю вам немедленно пойти на мировую и, хорошенько высчитав все, дать мне как можно меньше месяцев, потому что меня ждут, наверное, какие-нибудь небольшие заказы, а также надежда на отзывчивость товарища Фени Гершанович. А без надежды и без заказов я могу легко умереть. Но ведь этого не хочет даже товарищ Гуревич, потому что все граждане, кроме некоторых отрезанных веток, должны жить и дружно цвести, как цветут безответственные деревья на крутом берегу нашего судоходного Сожа!



Лазика была чрезвычайно нежная кожа, только Левка-парикмахер и умел его как следует брить. Но Левка — это не простой парикмахер, это — мировая знаменитость. Говорили, будто он столь артистически побрил затылок одной приезжей дамочки из Коминтерна, что дамочка немедленно залилась слезами умиления, восклицая: «Какая это великая страна», — и дала Левке доллар с изображением американской коровы. Может быть, и врал, не знаю, но вот Лазика брил он на славу: ни ссадин, ни противной красноты, ни жжения — свежесть, отдых, брызги «Тройного» одеколона, а в придачу над ухом какой-нибудь контрабандный мотив, например, «хотите ли бананы, чтоб были страстью пьяны»... Конечно, у Циперовича торчит всюду вата (желтая, та, что между рамами кладут) и прочая псевдонаука, но куда же Циперовичу до Левки!

В тюрьме Лазик больше всего скучал по Левке. Как человек нашего бурного времени, он быстро привыкал к любой жизни. Конечно, в тюрьме не было ни Фенечки Гершанович, ни мотовского сверкания звезд, ни гастролей московской оперетки. Зато в тюрьме не было и фининспектора. Вот только бы Левку сюда!.. Довериться тюремному цирюльнику Лазик не хотел: исцарапает, надругается, и еще прыщи после вскочут; что скажет через шесть недель Фенечка Гершанович? А на подбородке Лазика уже начинала курчавиться рыжеватая рощица. Дело

не в зрелище — перед кем здесь стесняться? Перед восьмью небритыми злодеями? Дело в умственном зуде, рождаемом бородкой.

Лазик хорошо понимал, что именно его погубило на суде. Он дал себе обещание как можно меньше думать. Трудно, разумеется, не думать в тюрьме, когда ежедневно выдают тебе двадцать четыре часа для бесплатной философии и зрелища растерзанной человеческой судьбы, а тем паче когда на подбородке уже торчит пучок подозрительной пакли: так и хочется, обкрутив его вокруг пальца, погрузиться в раздумья. Нет ничего более располагающего к философствованию, нежели курчавая бородка: она-то доводила различных талмудистов до сумасшедших выкладок.

Лежит, представьте себе, крохотная горошинка. Мышка съедает горошинку. Кошка цап-царап мышку. Большая собака загрызает кошку. Собаку, конечно, съедает волк, а волка съедает лев. Выходит человек, и что же — он убивает льва. Можно подумать, что человек это царь творения. Но человек возвращается домой, и он натывается на крохотную горошинку, он падает на камень и умирает. Тогда выбегает мышка и насмехается над человеком, и мышка съедает горошинку, а кошка ест мышку, и так может продолжаться без конца. Теперь скажите, разве могли бы безбородые люди дойти до таких размышлений?

Лазик грустно сидел на нарах и, теребя бороду, думал если не о горошинке, то об известной нам гражданке Пукке. Вдруг он радостно пискнул: в камеру вошел Левка-парикмахер. Это не было миражем в пустыне или песней соловья, которую слышит узник. Нет, Левка, живой Левка стоял перед ним!

Несмотря на всю свою радость, Лазик, как вполне сознательный кустарь-одиночка, вздохнул:

— Кто же еще умер, Левка? Может быть, этот португальский бич?

— При чем тут португальский бич, когда мы живем, кажется, в Гомеле? И никто не умер, кроме старика Шимановича, но он все равно должен был умереть, потому что ему было восемьдесят два года. А у Хасина родилась дочка, чтобы он знал, как продавать мокрый сахар. Но я здесь вовсе не потому, что Шиманович умер, и не потому, что у Хасина родилась дочка. Это же мелкая семейная чепуха, а я здесь по делу чрезвычайной государственной

важности. Я влип из-за... — Можно быть первым парикмахером мира, оставаясь при этом отчаянным хвастунишкой, одно другому не мешает. Левка торжественно нахохлился, как молоденький воробей. — Я влип из-за этой самой бочки.

Здесь я должен пояснить, что в Гомеле, несмотря на все наши великие завоевания, нет до сих пор соответствующих труб. От мрачного прошлого унаследовали гомельчане громыхающие по главной улице неприличные бочки. Прошу за это Гомель не презирать. Как-никак в Гомеле множество просветительных начинаний, два театра, цирк, не говоря уж о кино. В музее висит такая голландская рыба, что дай бог всякому еврею к субботе. В парке, бывшем Паскевича, сидит на цепи настоящий волк и пугает раздирающим воем наивных детишек. А клуб «Красный Прорыв» кустарей-одиночек? А вполне разработанный проект трамвая? А стенная газета местного отделения «Доброхима» с дружескими шаржами товарища Пинкеса? Нет, в культурном отношении Гомель мало чем отличается от столицы. Что же касается труб, то это не заслуживающая внимания деталь. Уж на что знамениты Афины, кажется, туда даже из Америки приезжают, ну, а в Афинах тоже нет этих труб, так что нечего попрекать неприличными бочками Гомель.

Разумеется, комхоз всячески ограждает носы граждан. Бочки разрешается вывозить только ночью, да и то в закрытом виде. Однако не все подчиняются даже самым строжайшим запрещениям. Я не говорю о жулике Гершановиче — этот знает все правила наизусть, как десять заповедей: где нельзя плевать, а где можно, в каком месте переходить базарную площадь, в какие дни вывешивать флаги и даже откуда входить в трамвай, хоть в Гомеле имеется всего-навсего проект трамвая. Но ведь существуют на свете граждане поважнее Гершановича, и вот бочка одного учреждения выезжает среди бела дня, даже без надлежащей крыши. Что здесь подделаешь? Как говорят в Гомеле, бывает, что и плевков заслуживает уважения.

В жаркий летний день крикнет кто-нибудь: «Едет» — уж не спрашивают гомельчане кто — знают, сейчас же закрывают они наглухо окна и, забившись в угол, подносят пальцы к чувствительным придаткам обоняния.

Вот из-за этой бочки и влип Левка-парикмахер. Беда застигла его на улице, и он не успел забежать в соседнюю лавочку. Зажав нос, возмущенно он завопил:

— Чтоб они сдохли с этой невыносимой бочкой!

Конечно, глупо кричать на улице. Но ведь Лазик не зря ссылся на Левку. Парикмахер действительно любил возгласы. Во время кампании «безбожника» он так кричал, что даже охрип. Он и в синагогу вбежал с криком: «Долой эту тухлую субботу! Да здравствует, скажем себе, понедельник!» В кино он не мог сидеть спокойно: сколько раз выводили его. Показывают, например, какого-нибудь лорда, который заговаривает невинную девушку, а Левка уже с ума сходит: «Я тебя бобриком постригу, этакий нахальный феодал!..» Словом, Левка был известным горлодером, и поэтому возглас касательно бочки не мог никого удивить. Лазик недоверчиво спросил его:

— Если ты только издал возглас, почему же тебя посадили? Ты ведь всегда это делаешь. Я думаю, Левка, что здесь дело совсем не в бочке.

Левка иронически прищурился, как будто он стриг лорда.

— Кто тебе говорит, что дело в бочке? Конечно, дело не в бочке: бочка ездит каждый божий день. Дело в какой-то гражданке Пуке. Она заявила, будто бы я произнес целую демонстративную речь.

Лазик задумался.

— Я ведь тоже влип из-за гражданки Пуке. Это какая-то перепуганная женщина. Но я спрашиваю себя, если она будет еще долго гулять по улицам Гомеля, то как же мы будем здесь шевелиться? Пока нас только девять, но завтра нас может быть сто девять. Я теперь буду всю ночь думать, в чем же здесь дело и чего она боится, эта гражданка Пуке: румынского вмешательства или какой-нибудь кулацкой неувязки? Слушай, Левка, раз ты попал сюда, пожалуйста, сейчас же побрей меня, чтоб я не так много думал.

Увы, хоть Левку забрали со всеми его орудиями производства, — шел он брить больного Осю Зайцева, — бритву у него отобрали. Оказывается, они боятся, чтоб он не покончил с собой. Смешно! Вдруг из-за какой-то Пуке Левка станет резать себе шею.

— Но если ты хочешь, Лазик, я могу тебя намылить, потому что они мне позволили взять с собой кисточку. У тебя, конечно, останется борода, но тогда ты сможешь думать, что у тебя больше нет бороды.

Долго Левка мылил подбородок Лазика. Потом он издал несколько ужасных возгласов, которые я лучше ос-

тавлю без внимания, и, окончательно утомленный, заснул. Но Лазик не спал. Он накручивал на палец бородку. И он думал. Далеко за полночь он разбудил нагло похрапывавшего Левку.

— Я уже все понял. Ты знаешь, в чем дело? В этом самом режиме экономии. Она вовсе не боится ни румын, ни неувязки, она только боится, чтоб ее не сократили, потому что теперь всюду беспощадно сокращают неподвижных сотрудников. Конечно, даже такая Пуке хочет кушать курицу и рыбу. Это совсем понятно, и я думаю, что мы не должны на нее сердиться, нет, мы должны ей выдать замечательный аттестат, как на сельскохозяйственной выставке.



видав одноглазого Натика, Лазик умилился:

— Это замечательно, что тебя посадили, Натик. Впервые, теперь некому будет наклеивать воззвания, и этой гражданке Пуке придется придумать какой-нибудь новый фокус; во-вторых, нас теперь ровно десять, и если кто-нибудь сегодня умрет от тоски по неприкрашенной свободе, то можно будет его похоронить со всеми отсталыми штучками, — ведь нас будет тогда ровно десять евреев. Вы спросите: откуда десять, если один умрет? Десятый это сторож. Хоть он и уверяет, что он какой-то закавказский грузин из полусамостоятельной федерации, я думаю, что он скорей всего мой двоюродный племянник из Мозыря и что его настоящая фамилия Капелевич. Впрочем, если от тоски по неприкрашенной свободе и по Фенечке Гершанович умру именно я, Лазик Ройтшванец, то я прошу вас не читать надо мной прискорбных молитв. Пусть лучше Левка споет надо мной контрабандную песенку о заграничных бананах. Я никогда не пробовал этих выдуманных фруктов, но я знаю, что такое самая ужасная страсть. И я прошу вас не говорить надо мной «кадиш». Я прошу вас сказать: «Он, может быть, был гнилым продуктом, и он, наверное, утаил пфейферские брюки. Но он любил неприкрашенную свободу, разгул деревьев на берегу Сожа, звезды, которые вертятся где-то в пустых горизонтах, и он любил одну гомельскую

девушку, имя которой да будет покрыто последней тайной». Я прошу вас сказать все это — если я умру, но, конечно, я вовсе не думаю умирать, и я даже думаю сейчас же доказать тебе, Натик, что ты, как говорит товарищ Гуревич, какая-нибудь оскопленная личность. Если я уничтожил самого Гершановича, то я в пять минут докажу тебе, что земля держится вовсе не на трех подпорках и что гораздо лучше заниматься хорошенькой китайской головолломкой, нежели повторять всю жизнь одни и те же прискорбные фразы, которые известны всем гомельским кошкам, не говоря уже о собаках.

Только-только Лазик начал просветительную лекцию, как внимание его отвлек новый арестант, вернее, пиджак. Лазик смотрел на мир глазами честного кустаря-одиночки — он замечал прежде всего построй костюма. Глазами от оцупал материю новичка: это самая настоящая контрабанда, может быть, по восьмидесяти рублей за аршин. Скроено не так уже важно. Кроил, наверное, Цимах: это не портной — это сапожник. Чтоб испортить такой материал! Но в общем это могло влететь ему в сорок червонцев. Разве глупо сказано: «Все суета сует»? Вы увидите, что останется через неделю от этого небесного материала, когда здесь торчит из нар какая-то сплошная щетина. Но кто же мог заказать себе такой предательский костюм?..

Лазик наконец-то взглянул на лицо щеголя. Перед ним стоял знаменитый гомельский жулик Митька Райкин, который продавал пишущие машинки, покупал спички и мандаты, держал вокзальный буфет, строил крестьянский киоск для свободной выдачи селькорам лимонаду, а также безбожной литературы и лопал в полное свое удовольствие каждый божий день курицу. Кажется, Митьке нечего было удивляться тому, что он очутился здесь, но Митька искренно удивлялся. Он пожимал плечами, наивно чихал, желая выразить этим свое негодование, и подбирал брючки, чтоб они не коснулись острогого пола. Он первый заговорил с Лазиком.

— Ну, что вы скажете?

Лазик нашел вопрос Митьки чрезвычайно неделикатным. Пусть спрашивает Цимаха, который так замечательно сшил ему костюм. Митька, кажется, не следователь. Почему Лазик обязан отвечать ему на глупые вопросы?

— Я? Я ничего не скажу.

— Ах, вы тоже ничего не можете сказать? Это же сплошной анекдот! Чтоб меня посадили за решетку, как обыкновенного бандита! Я же выдал целых пять червонцев в пользу этих самых китайцев. Я, кажется, должен строить не кафешантан, но просветительный киоск, четыре раза одобренный центром. Если, например, вас посадили, так, наверное, вы сделали что-нибудь противозаконное.

Видя душевные муки Митьки, Лазик смилостивился:

— Да, я что-то сделал... Я вздохнул в присутствии гражданки Пуке.

— Вот видите — это, наверное, составляет полное оскорбление нравов. Вас посадили за ваше дело. А меня за что? Они придумали такую смешную историю, что я бы смеялся до упаду, если бы я только не сидел в этой невыносимой тюрьме. Вы послушайте: если я хочу, чтобы «Укрспичка» купила арифмометры у меня, а не у Шварцберга, я должен дать заведующему двадцать процентов. Это совсем обыкновенная операция. Что же происходит? Сначала он хочет сорок процентов, как будто он не в губернском городе, а на большой дороге. Когда я отвечаю деликатно «нет», он покупает арифмометры у низкого Шварцберга. А потом меня хватают, как будто я зарезал живого человека, и кидают в этот невыносимый острог. Когда я спрашиваю, за что такие терзания, они отвечают мне: «Вы, Райкин, настоящий взяточник». Это же глупо, называть обыкновенную операцию таким уголовным именем. Я вовсе не дурак, и я хорошо понимаю, в чем дело. Заведующий «Укрспичкой» — кошмарный антисемит. Это раз. Следователь готов съесть живьем каждого еврея, несмотря на все их замечательные декларации. Это два:

Здесь Лазик попробовал запротестовать:

— Но ведь товарищ Кугель такой же еврей, как вы и как я, только с вполне испытанным стажем.

Митька, однако, не унимался:

— Это все равно. Когда я говорю вам, что они вполне антисемиты. Это второе дело Бейлиса. Но за Бейлиса вступилась Америка. А кто вступится за меня? Никто. И что мне остается, спрошу вас? Одно — сидеть и вздыхать.

— Сидеть вы, конечно, можете. Но вот вздыхать я вам не советую. Если вы обязательно хотите выразить свое негодование, лучше чихайте, как вы теперь чихаете, только не вздыхайте. Товарищ Ландау объяснил мне, что

вздохи — это чисто патологическое явление. Причем я уверяю вас, что если меня наполовину оправдали, то только из-за моего исключительного происхождения. А ведь ваших незабвенных родителей, наверное, венчали не на кладбище, но под каким-нибудь пышным балдахином, и вам за каждый вздох могут закатить несколько долговечных месяцев. Нет, гражданин Райкин, если вы даже второй Бейлис — сидите себе тихо и чихайте, а когда вам надоест чихать, тогда мы сможем поговорить о великом китайском вопросе.

Дня три спустя Лазик познакомился с новым обитателем камеры номер шесть, с заведующим гомельским отделением «Беллеса» гражданином Чебышевым. Костюм на Чебышеве был плохенький, но двадцать рублей аршин — красная цена. Правда, в гардеробе Чебышева висели четыре первосортных английских костюма и даже смокинг, но об этом мало кто знал. Не желая вводить малых сих в соблазн, Чебышев надевал английские костюмы только дома, закрыв наглухо ставни, а в смокинге он даже перед избранными друзьями не решался показаться, в смокинге он только соблазнял по ночам свою чересчур флегматичную супругу. Как же мог попасть такой осмотрительный человек в тюрьму?

Присмотревшись к посланному ему судьбой сожителем, Чебышев остановился на Лазике. Как-то обняв его за шею — Лазик приходился ему чуть выше колен, — Чебышев завел лирическую беседу:

— Я про вас не говорю. Вы симпатичный еврей. Но не все такие. Я сам в свое время стоял за равноправие. Но ведь кто же тогда знал? Я могу еще понять уничтожение черты оседлости. Что же мы видим? Отбирают у нас землю и дают ее каким-то пришельцам. Где? В Сибири, куда нас теперь ссылают? Нет. В Крыму. Куда мы ездили когда-то наслаждаться лазурным морем. Может быть, на берегу, возле Ялты. Скажите, разве это не возмутительно?

Лазик пожалел Чебышева:

— Значит, у вас был на берегу лазурного моря хорошенький огород?

Чебышев обиделся:

— Я, милый мой, с университетским дипломом. Огород? Я в эту Ялту только на весенний сезон ездил. Я до революции занимался исключительно римским правом. Это вам не капусту сажать. Это непостижимая для вас культура...

— Ну да, хоть я и занимаюсь теперь китайской головоломкой, но это для меня...

— Не перебивайте! Я скажу вам все. Это не равноправие, это еврейское засилье. Это уничтожение коренного населения пришлым элементом. Вы сами судите: я должен был купить для отделения «Беллеса» конторскую мебель. Это связано, конечно, с расходами. Провести смету не так-то легко. Приходит один пархатый из неудачных комиссаров и предлагает мебель втридорога. Я объясняю ему: по такой цене провести почти невозможно. Что скажет рабкрин? Сколько ртов здесь надо заткнуть? Я говорю ему: минимум сорок процентов. Он же начинает торговаться, как на базаре. Простите меня, но это паршивое племя. Мне пришлось взять мебель у его конкурента. В итоге — тюрьма, разбитое положение, отказ от остатков культурной жизни, черт знает что. Как же я могу жить, я, простофиля, наивный русак, среди этого нахального кагала, скажите?

— Очень просто. Пока вы говорили, я думал. И я уже придумал. Молодой человек должен найти хорошенькую девушку, вроде товарища Фени Гершанович, ключ должен найти замок, тогда начинается беспроегрышное счастье. Вы посидите немного, и вас отпустят, потому что рано или поздно всех отпускают. Если они не отпускали бы, то куда бы они сажали новых? Вас отпустят, потому что будет какая-нибудь маленькая амнистия или разгрузка, или потому что им попросту надоест ваше, простите меня, оскорбленное навеки лицо. И тогда вы будете чем-нибудь заведовать, если не «Беллесом», то «Укрсахаром». Не так уж много людей, которые знают настоящее римское право. Вы будете снова сидеть в роскошном кабинете. Так я сейчас познакомлю вас с Митькой Райкиным. Он продавал пишущие машинки, но если вам понадобится мебель, я даю вам слово, он моментально доставит мебель: это же самый первый мошенник Гомеля. У вас времени, кажется, много — двадцать четыре часа в сутки, и вы можете с ним обо всем сговориться: скажем, вы сговоритесь на тридцати процентах. Тогда никто больше не скажет ему, что он дает, а вам, что вы берете. Это будет самая обыкновенная операция, и вы оба будете вполне счастливы. Когда ключ находит скважину, можно пить вино по два рубля за бутылку и смеяться, как смеются одни ангелы. Вы увидите, гражданин Чебышев, что вас ждет настоящая, непостижимая мне культура. Только

я, извиняюсь, несчастен, потому что у меня нет ключа и я, может, никогда не увижу глаза Фенечки Гершанович, такие же лазурные, как море вашей незабвенной Ялты.



Срок Лазика кончился десятого августа. Шестого под вечер Лазика вызвали в тюремную контору. Он вовремя подавил вздох.

— Меня не могут еще выпустить, и меня не могут уже расстрелять. Значит, они хотят, чтобы я заполнил сорок девятую анкету. Но скажите, откуда я знаю, сколько кубических метров воздуха проглотил мой безответный отец?..

Лазик ошибся. Председатель Комиссии по разгрузке мест заключения прокурор Васильев вызвал Лазика Ройтшванца с самыми человеколюбивыми намерениями.

— Мы хотим вас освободить до срока.

Лазик задумался.

— На этот раз я действительно ничего не понимаю. Вы думаете, я не наводил маленьких справок? Мой двоюродный племянник, незапятнанный кандидат, товарищ Капелевич, рассказал мне, что до срока освобождают перед Октябрьской годовщиной и перед могучим праздником Первого мая. Но, к сожалению, гражданка Пуке узнала о сокращении штатов именно в июле. Это совершенно пустой месяц. Правда, некоторых гражданок освобождают к Восьмому марта, к всемирному женскому дню, но ведь теперь, конечно, не март, и я притом никак не гражданка. Почему же вы хотите освободить меня?

Товарищ Васильев только-только начал:

— Комиссия по разгрузке...

Как Лазик торжествующе прервал его:

— Я же говорил этому жулику Райкину, что у нас не хватит места! Я, конечно, понимаю, что засиживаться в гостях неприлично, и я готов сейчас же разгрузить вас от всего моего печального присутствия.

Товарищ Васильев, однако, был честным прокурором. Испытуяще оглядев Лазика, он сказал:

— Ваши шутки мне не по вкусу. Это пошлость и обывательщина. Прежде чем отпустить вас, я хочу убедиться,

действительно ли вы исправились. Честный труд — вот основа нашего свободного общества. Если какой-нибудь кулак выступает против флага и против герба как против выразительных символов мозолистой республики — это вполне понятно. Но кустарь-одиночка должен свято любить эмблему мира и трудовых процессов. Обещайте мне больше не выступать против законов, установленных рабоче-крестьянским правительством, и я тотчас же подпишу приказ о вашем досрочном освобождении.

— Мерси, нет, — стойко ответил Лазик. — Сегодня, кажется, шестое августа. Конечно, я не скрою от вас — четыре дня это что-нибудь да значит. Мы вовсе не живем двести лет, как патриархи или как слоны, чтобы швыряться четырьмя сияющими днями. Увидеть на четыре дня раньше порхающих птичек в парке бывшем Паскевича и товарища Феню Гершанович — это ведь настоящее счастье! Но я не могу вам дать зловещего обещания, потому что я не читал законов рабоче-крестьянского правительства и потому что я не знаю, гуляет ли еще по улицам Гомеля гражданин Пуке. Нет, лучше уж я просижу еще четыре дня среди горючих слез и вековой паутины.

— Вы меня не проведете, гражданин Ройтшванец. Не одного симулянта я вывел на свежую воду. Вы можете быть малосознательным. Это я допускаю. Но что такое честный труд и противозаконные демонстрации — это вы хорошо знаете. Итак, я в последний раз вас спрашиваю: раскаиваетесь ли вы в вашей проступке и намерены ли вы впредь подчинить свое индивидуальное поведение общественным интересам?

— Конечно, я раскаиваюсь в пфейферских брюках. Это было самое последнее злодейство. Я так и сказал на суде гражданину председателю. Потом я об этом, говоря откровенно, больше не думал. Я думал скорее о гражданке Пуке и о глазах товарища Фени Гершанович. Так что, если вы думаете, что я раскаялся, сидя на каких-то занозах вместе с гражданином Райкиным, то вы вполне ошибаетесь. Я раскаялся один раз на суде, и этого достаточно. Сколько же можно думать о каких-то брюках? Поставьте у себя в книжечке подходящий крестик: «Ройтшванец раскаялся», и не будем больше обсуждать этот протекший момент. Но вот зловещего обещания я вам не выдам. Если не считать этой истории с Пфейфером, я, безусловно, честный портной, и если обещаю сдать заказ к

пятнице, я его сдаю. Откуда я могу знать, что со мной будет завтра? Человек — это же крохотное бревно среди кипучих волн нашего Сожа. Почему я утаил от фининспектора тридцать пять рублей? Потому что в окнах отсталой квартиры служителя культа загорелись безумные глаза одной недоступной гражданки. Я не хочу ни вкусных кушаний, ни крымского вина, ни пышных галстуков, ни бриллиантов. Но вот я увидел эти глаза, и я моментально потерял всю свою классовую совесть. Я ходил и вздыхал, а она стояла и смеялась. Я кричал ей: «У меня сердце рвется на куски», — а она хладнокровно исполняла свои международные мелодии. Тогда я решился на черное дело. Я утаил брюки от фининспектора, и на эти три рубля пятьдесят копеек я купил американский пульверизатор, полный ароматного дыхания орхидеи «Тэжэ». Я хотел им обрызгать, как поэзией моего сердца, эту недоступную гражданку. Но вот случилась интервенция одной известной вам особы, о которой я сейчас лучше не буду говорить. Пульверизатор остался в жестокой конторе, и он, наверное, опустел. Как я теперь встречаюсь с товарищем Феней Гершанович? У меня нет ни ароматных струй, ни смеха, ни торжественных звуков. Может быть, я кинусь в глубокие воды Сожа или же уеду в какую-нибудь Сибирь искать подложное счастье. Я не могу вам выдать зловещих обещаний. Я не святой, я только полусознательный кустарь-одиночка. Вы мне не верите? Я расскажу вам одну красивую историю. Вы потеряете, конечно, время, которое дороже денег, но зато вы услышите настоящую правду, а правда, по-моему, еще дороже времени. Я почти такой же марксист, как и вы, и я хорошо понимаю, что все это классовые штучки. Но ведь под отсталым сюртуком позапрошлого столетия билось настоящее человеческое сердце, и хоть мы с вами вполне марксисты, мы, простите меня, кроме того настоящие люди, и вот почему я и хочу рассказать вам эту красивую историю.

Это случилось с коцким цадиком, с тем самым цадиком, который всю жизнь искал, запершись, какую-то придуманную истину. Он плюнул и на богатство, и на жену, и на почет. Он на все плюнул. Он сидел в тесной камерке и ел сухой хлеб. Он читал невыносимые книги, вроде китайского вопроса, и двадцать четыре часа в сутки он думал над этими книгами. Он был, кажется, самым сильным человеком, которого только можно придумать, и все, конечно, говорили, что у коцкого цадика нет ни од-

ной малюсенькой слабости, это даже не человек, а одна высокая мысль.

Но вот перед смертью коцкий цадик говорит своему любимому ученику: «Ты не знаешь, мой любимый ученик, что я делал всю мою угрюмую жизнь? Я занимался одним огромным грехом: я слушал женское пение».

Должен я вам сказать, гражданин прокурор, что набожному еврею никак нельзя слушать женское пение. Это, конечно, сознательный предрассудок, но ведь все люди любят выдумывать различные запрещения; тогда им немножечко веселей жить. Вот жулик Райкин, он беспартийный, и он может преспокойно танцевать у себя дома фокстрот, а вам, гражданин прокурор, это вполне запрещено, и, значит, вы хорошо поймете, что какому-нибудь отсталому еврею нельзя слушать женское пение.

И вот представьте себе — коцкий цадик признается, что он всю свою жизнь, сидя у себя в тесной каморе, где были только книги и мысли, слушал женское пение. Он раскрывает свою тайну любимому ученику: «У меня в комнате стояли старые часы с боем. Их сделал несчастный часовщик из Проскурова, вскоре после этого он сошел с ума. У часовщика умерла прекрасная невеста, и бой этих часов напоминал женский голос. Он был так прекрасен и так печален, что я улыбался и плакал, слушая его. Я знал, что это грех, что я должен сидеть и думать над истиной, но я подходил к часам, и я уговаривал себя: «они немножечко отстают» или «они чуточку спешат». Я двигал стрелку, и часы снова били, и это говорила со мной женщина дивной красоты, она говорила мне о любви и о горе, она говорила о звездах, о цветах, о моей мертвой весне и о живой весне сумасшедшего часовщика, когда поют птицы и когда шумит дождь».

Любимый ученик, конечно, испугался за свою крохотную веру, и от стал приставать к учителю: «Что же мне теперь делать, реби?»

А коцкий цадик спокойно отвечает ему: «Если у тебя нет часов, ты можешь слушать, как шумит дождь, потому что дождя у тебя не отнимут никакие книги, и улыбки они не отнимут, и греха не отнимут, и не отнимут они любви».

Гражданин прокурор, он же понимал, в чем дело, этот отсталый цадик. Теперь скажите мне, как я могу вам выдать какое-то обещание? Оставьте меня здесь не только четыре дня, а четыре года, я все-таки отвечу вам полным

признанием, я скажу вам: «Я слышал эти часы даже в тесной тюрьме, за последней решеткой, и мне легче сейчас же умереть под холодной пулей, нежели прожить всю жизнь без одного удара этих недопустимых часов».



С тоя на высоком берегу Сожа, гомельчане вот уже который час спорили. Пфейфер, тот даже охрип:

— Я вам говорю, что этот «Коммунист» сел, и он сел, и он сидит, а мы можем идти себе спать.

(Хорошо, что не было здесь гражданки Пуке! Поди объясни потом, что «Коммунист» — это обыкновенный беспартийный пароход, груженный яйцами и киевской гастрольной группой.)

— Сел!

Ося Залкин негодуяюще отряхивался:

— Чтоб моим врагам было так хорошо, как он сел! Он идет, и он скоро придет. Если не через час, так через два, но он обязательно придет, и вам, Пфейфер, стыдно отрицать науку или эти замечательные черпалки из-за каких-нибудь сухих погод...

Кто знает, сколько бы они простояли на высоком берегу Сожа, если бы не раздался сзади тоненький голосок:

— Он сел и он не сел. Вы же не понимаете даже самой коротенькой диалектики. Можно подумать, что вы стоцентные идиоты и читаете пароходное расписание. Кто же не знает, что солнце печет, что черпалки черпают, что наука это наука и что «Коммунист» каждый день садится на мель, а потом ему, конечно, надоедает, и он сходит с мели, и он приходит в родной Гомель. Тогда он на радостях свистит, может быть, все сто раз. Если б у меня была труба, я бы тоже сейчас свистел, потому что я тоже торчал на мели, и я сошел с нее и вернулся на этот высокий берег, и мое сердце кустаря-одиночки готово разорваться от восторга, когда я гляжу на свободные деревья, на всю организованную толпу дорогих мне личностей и даже на ваши проклятые брюки, незабвенный гражданин Пфейфер.

Увидев Лазика, спорщики сразу притихли. Вышел? Пусть вышел. Не целоваться же на улице с человеком,

которого судили за оскорбление флага и герба! Пфейфер сказал:

— Пароход всегда приходит, раз законом установлены черпалки и летнее расписание, мы это понимаем без ваших опасных слов.

Лазик расхохотался.

— При чем тут расписание? Кажется, он должен приходиться рано утром, но он приходит поздно вечером, и я не возражаю. Можно идти по главной улице и тоже сесть на мель: это законы природы. Но почему вы, гражданин Пфейфер, изображаете какого-то британского дипломата, когда я дрожу от неслыханной радости? Я, может быть, пострадал именно из-за ваших брюк, но я ни капельки не жалею об этом. Я их замечательно сшил, не так, как сшил Цимах из лучшего материала что-то такое жулику Райкину, нет, я сшил их, как осмеянный бог. Вот посмотрите на эту складочку, разве она не выглядит как улыбка?..

— Вы, вероятно, ослепли, некто Ройтшванец, в вашей заслуженной тюрьме. На мне, кажется, серые брюки, и сшил их не кто иной, как товарищ Цимах, который честно кроит брюки, а не оскорбляет гербы. Вы хотели меня втянуть в ваш черный заговор с этими, будь они прокляты, брюками. Как будто я не знаю вашу подлую речь на суде, где вы ни с того ни с сего произнесли мою чистую фамилию? Ко мне приходили шесть раз из-за этих, будь они прокляты, брюк, и если меня что-нибудь спасло, то только мое чисто красное прошлое. Я их выкинул — эти, будь они прокляты, брюки. Я их выкинул, как самую грязную клевету, хоть они стояли мне тридцать пять рублей, утаенных не мной, а вами. Я могу вам сказать одно: пароход придет вовремя, и вы сидели за дело, я теперь настоящий кандидат его призыва, и я прошу вас, некто Ройтшванец, не разговаривать со мной, по крайней мере, в таких публичных местах.

Сказав это, Пфейфер быстро удалился. Разошлись гомельчане по домам, так и не дождавшись парохода. Лазик остался один среди свободных деревьев.

— Пфейфер попросту взбесился. Это бывает от жары, когда мелеет Сож, и от этого не помогают никакие черпалки. Цимах сшил ему жестокое посмешище; каждый видит, что складка совсем не на месте. Кандидатом его призыва я тоже могу стать, и я понимаю больше, чем Пфейфер, в светлом китайском вопросе. А пока что надо

зайти домой и, переменяв хо-я бы необходимую рубашку, побежать, задыхаясь от всего приготовленного счастья, к товарищу Фене Гершанович.

Подойдя к своему дому, Лазик съежился и обмер. Уж не спит ли он? Кажется, один ненормальный цадик часто спал, когда он не спал, и тогда он отчаянно кричал: «Ущипните меня, чтоб я видел наконец, сплю я или не сплю». Ущипните бедного Лазика! Нет, он не спит. Это улица Клары Цеткиной. Это третий дом от угла. Это сердце Лазика, беспокойное сердце, полное любви к Фенечке Гершанович. Почему же над левым окном, где висела роскошная вывеска «Мужеский портной Л. Ройтшванец», теперь болтается какая-то юркая дощечка со зловещей надписью: «Изготовка флагов установленного образца, также лучшие пионерские барабаны Моисея Рейхенгольца»?

На всякий случай Лазик почтительно обнажил голову; минут пять простоял он, трепеща и поклоняясь, потом решил: тихо поскребся он в дверь, как провинившийся пес. Дверь открыл Пфейфер.

— Ах, это вы, несчастный Ройтшванец? Но зачем же вы пришли сюда? Разве вы не видите, что вас здесь нет? Здесь живет теперь гражданин Рейхенголец. И он вовсе не портной. Он даже изготавливает...

Лазик затрясся.

— Ради всего осмеянного лучше не говорите при мне этих уголовных слов! Я ведь никого не оскорбляю. Я только хочу спросить вас — где же в таком случае находится мое печальное имущество, хотя бы необходимая мне рубашка?

— Он, наверное, ее носит, этот Рейхенголец. Как будто, если он изготавливает установленные флаги, ему не нужны рубашки? Говоря откровенно, он последний грубиян, у него неслыханные связи. Что ему ваша рубашка, если он вошел ко мне, увидел на столе пять крутых яичек и моментально слопал их все пять, он даже не сказал мне, что они ему почему-нибудь нравятся. Он взял все ваше печальное имущество, и он отдал вам только два жестоких воспоминания: вот эту вывеску и портрет португальского бича.

Лазик не стал оплакивать потерянной рубашки. Он даже не пожаловался на жестокость судьбы.

— Прощайте, Пфейфер! Вы были удивительным ответственным съемщиком, и вы не должны сердиться за

то, что я произнес на суде вашу чистую фамилию. Это было взрывом неожиданного раскаяния. И я теперь сам раскаиваюсь в этом. Но в одном вы не правы: вы их напрасно выкинули. Это были замечательные брюки. Это были, наверное, мои последние брюки или, как поет Фенечка Гершанович, это была моя лебединая песня. Я, кажется, больше не мужеский портной, но только неустановленная личность. Если я через четверть часа найду задуманное счастье, я буду жить на высоком берегу Сожа среди деревьев и питаться случайными ягодами. Я буду тогда счастливее, чем этот Рейхенгольц, со всеми его установленными связями. Но если я ничего не найду через четверть часа, я уеду куда-нибудь далеко — в Мозырь или даже в преступную Палестину.

Долго стучался Лазик в дверь служителя культа, ему не открывали. Наконец из окна высыпалась седая борода Гершановича.

— Спрашивается, почему ты скандалишь? Тебя мало учили в тюрьме? Если тебе не открывают дверь, значит, ее тебе не хотят открыть. Я, конечно, отсталый гражданин, но я не бандит. Я молюсь за процветание всего необъятного Союза, и я вовсе не хочу говорить с каким-то признанным злодеем.

— Простите мой неприличный стук, гражданин Гершанович, но горячие чувства сильнее всякого разума, и я ждал этой минуты ровно шесть долговечных недель. Я вас попрошу только отодвинуть эту жестокую задвижку, чтоб я мог увидеть задушевные глаза вашей дорогой дочери.

— Я думаю, что моя дочка тоже не захочет разговаривать с таким ужасным преступником, если она поет международные мелодии и если она теперь все время разговаривает с уважаемым товарищем Шацманом.

Несмотря на маленький рост и на тоненький голос, Лазик был ревнив. Услыхав имя Шацмана, он начал еще сильнее стучать в дверь и визжать:

— Откройте ее! Если передо мной открылась железная дверь тюрьмы, предо мной откроется и эта смехотворная калитка. Фенечка не может разговаривать с Шацманом, потому что у Фенечки лебединая душа, а Шацман глуп, как индейский петух. Откройте дверь, не то я совершу преступление! Я оскорблю этого Шацмана, а может быть, этот Шацман тоже какой-нибудь флаг или герб...

Перепуганный Гершанович открыл дверь. Он попытался успокоить Лазика:

— Зачем тебе понадобилась обязательно Феня? Разве ты не можешь жениться на какой-нибудь другой девушке? И о чем этот крик, когда она уже на одну треть его настоящая жена! Я говорю на одну треть — потому что я отсталый служитель культа. Чтобы жена стала женой, нужно, чтоб он надел на ее палец кольцо в присутствии двух хороших евреев. Это одна треть. И Шацман, конечно, этого не сделал. Нужно, чтоб он подписал брачный договор. Это вторая треть. И этого он тоже не сделал. Он подписал вместо этого удостоверение, что я инвалид труда и что меня не следует отсылать в какие-то болота. Но остается последняя треть. Нужно, чтоб он провел с ней одну ночь как с настоящей женой. И это он, наверное, сделал. Он провел с ней даже не одну ночь, а, может быть, двадцать ночей. Значит, для меня она его жена на одну треть. А для него она жена на все три трети.

Лазик впал в беспамятство. От гнева трясся на его крохотной головке пушистый хохолок. Он пищал:

— Я его заколю ножом, как в позапрошлом столетии!

На крик вышла Фенечка. Она была в лиловом капоте, и, увидев ее белую шейку, Лазик упал на колени. Он протянул к ней дрожащие руки.

— Вы настоящая сирень, и вы дивный лебедь из ваших мелодий. Вы не можете быть женой Шацмана. У Шацмана только высокое положение и нахальная душа. Я никогда не говорил вам этого, но теперь я скажу вам ужасную вещь — я люблю вас самой отсталой любовью, и я могу сейчас же умереть от этих преувеличенных чувств.

Фенечка в ответ захохотала.

— Тоже... Поклонник! Перемените лучше рубашку, она такая черная, как будто вы пришли на похороны.

— Я не могу этого сделать, потому что мои рубашки больше не мои рубашки. Их забрал один гражданин, который изготавливает неназываемые вещи. Но я пришел не на похороны. Если вы хотите, я пришел скорее всего на свадьбу, потому что, хотя я и презираю дешевый опиум вашего уважаемого родителя, я готов тотчас же выполнить все его три трети, чтобы только заслужить один ваш поцелуй...

— Вы думаете, что я могу целоваться с таким жалким пигмеем? Я выбрала товарища Шацмана, и вы мне прямо-таки смешны. Чтобы стать моим свободным другом,

нужен, во-первых, пол. А у вас нет никакого пола. Вы десять раз со мной гуляли в парке, и ни разу вам не пришло в голову, что меня можно нахально поцеловать. Вы должны жениться не на женщине, а на какой-нибудь божьей коровке. Во-вторых, нужны деньги. Что вы мне подарили за все время? Порцию мороженого с лотка и глупые разговоры. В-третьих, нужно положение. Замечательная фигура — бывший портной из воровской тюрьмы! В-четвертых, мне нужны духовные наслаждения. Может быть, вы скажете, что вы умны, как Троцкий? Может быть, вы скажете, что вы умеете танцевать фокстрот? Вы даже не повели меня ни разу в американское кино. Вы только хдили и вздыхали, как товарный паровоз. Хорошенький любовник! Что же вы молчите?

Фенечка больше не смеялась — она негодовала. Ее голос звучал сурово и непоправимо, как речь гражданина прокурора. Подумав, Лазик ответил:

— Вы совершенно правы, товарищ Гершанович, и я сейчас уйду в глубокую ночь. Я только объясню вам, почему я не поцеловал вас нахально, гуляя в парке, и почему я не подносил вам самых роскошных туалетов. Это называется смешная история об одной корове. Может быть, я ее прочел где-нибудь в Талмуде, а может быть, мне рассказал ее Левка-парикмахер — он ведь любит позорные анекдоты.

Одному еврею нужны были к субботе свечи, и у него не было денег. Тогда он продал соседу корову. Но вот проходит день или даже два дня, и сосед кричит в необыкновенном возмущении:

— Твоя корова не дает молока...

Но еврей преспокойно ему отвечает:

— Я не понимаю, почему ты сердишься? Она же не дает молока не потому, что она не хочет, а потому, что она не может. Ты знаешь, что я тебе скажу — у нее, наверное, нет молока.

Вот и все, товарищ Феня Гершанович. Правда, у меня была горячая любовь и другие позапрошлые чувства, но они теперь никому не нужны. Я желаю вам чудного счастья с этим неназываемым Шацманом, и я прошу вас не сердиться на поруганного пигмея.

Ночь Лазик провел на высоком берегу Сожа, а рано утром от направился к своему бывшему дому; не потревожив Пфейферов, он прямо обратился к гражданину Рейхенгольцу:

— Я пришел к вам не за рубашками. Вы можете их носить до вашего полного успокоения. Зачем мне говорить с вами о рубашках, когда вы все равно не станете со мной об этом говорить? Я же знаю, что у вас неслыханные связи. Но я прошу вас купить у меня за четыре несчастных рубля эту роскошную вывеску. Она вам, наверное, пригодится. Может быть, вы вздумаете стать мужским портным. Это гораздо спокойнее. За оскорбление брюк ведь никого не судят. Но если вы даже не станете портным, может быть, вы вздумаете переменить фамилию. Я вас уверяю, что «Ройтшванец» гораздо ближе к текущему моменту, чем этот пышный «Рейхенгольц». Тогда вы замажете верх, и у вас будет роскошная вывеска. Наконец, вы можете замазать все и написать самые необыкновенные вещи. Это хороший довоенный материал, и она выдержала восемь разнообразных режимов. На ней стояли смешные твердые знаки и даже какая-то петлюровская завитушка. Дайте мне четыре рубля, и я тотчас же ушлыу в неизвестные страны. Я возьму с собой только портрет португальского бича и мое ужасное положение. Если же вы не купите вывеску, я могу умереть у двери моего бывшего дома, и тогда вам будет, наверное, неприятно носить рубашки какого-то живого самоубийцы.

Пароходик отплыл согласно летнему расписанию. Он задорно посвистел, но через полчаса сел на мель. С сочувствием Лазик потрепал борт:

— Это ничего. Это бывает. Потом это проходит. Мы еще с тобой посвистим, дорогой пароход! Я потерял вывеску и счастье. Я потерял даже Фенечку Гершанович. Я вполне случайно не умер. Значит, я должен жить. Что же, через неделю я буду каким-нибудь замечательным кандидатом.



Корабли выходят в открытое море, и гомельские портные становятся историческими личностями. По сравнению с Днепром судоходный Сож кажется жалкой речушкой. Что сказала бы Фенечка Гершанович, увидев кредешиновые манто в «Пролетарском саду»? А речи!.. Куда тут товарищу Ландау! Гремят автобусы, сверкают огни,

прямо по беспроводному телефону разносятся плавающие призывы.

Лазик Ройтшванец сдержал обещание. Прибыв в Киев, он стал честным кандидатом и даже дежурным членом клуба служащих «Харчсмака». Он ходил теперь все время на цыпочках. Скажу без натяжки, несмотря на всю тщедушность комплекции, он готовился к большому плаванию, как и подобает большому кораблю.

Однако и здесь ожидали его тяжелые испытания. Мишка Минчик тоже был кандидатом, и к тому же он был большим лентяем. Лазик, тот во сне бормотал: «Чан-Кайши, Чанг-Тсолин, Сун-Чунгфанг». Мишка Минчик не хотел утруждать себя подобной зубрежкой. Нет, он только восторженно улыбался, сталкиваясь с мужественной физиономией секретаря контрольной комиссии товарища Серебрякова.

По вечерам в клубе служащих «Харчсмака» молодняк танцевал, и в этом, разумеется, не было ничего предосудительного. Лазик хорошо понимал, что если двигают ногами какие-нибудь парижские империалисты — это есть настоящее издыхание разлагающегося трупа, когда пляшут на вулкане и когда призрак уже бродит под окном, напоминая о себе бешеным плеском знамен, но если двигает ногами бодрый молодняк, это только крохотная передышка, и это даже развитие боевой энергии для грядущих схваток. Будучи дежурным клуба, Лазик нежно поглядывал на танцующие парочки и приговаривал: «Вертись, вертись, бодрый молодняк». Сам он не танцевал потому, что не мог забыть сиреневого капота Фенечки Гершанович, и еще потому, что никто из женского молодняка с ним танцевать не желал, ссылаясь на его исключительный рост и на чересчур отзывчивую натуру. Все шло по-хорошему, но тут-то выступил Мишка Минчик:

— Интересно, почему это дежурный не смотрит за своими прямыми обязанностями? Никто не возражает, когда молодняк танцует настоящий вальс или танцы наших великих меньшинств. Но, по-моему, некоторые товарищи танцуют самый откровенный фокстрот, несмотря на все суровые декреты. Если это будет продолжаться, мне придется обратиться к товарищу Серебрякову.

Лазик растерялся.

— Я могу даже во сне отличить розового предателя Чан-Кайши от безусловного мясника Чанг-Тсолина, но

я не умею отличить этот уголовный фокстрот от вполне дозволенного вальса, и я не знаю, что мне теперь делать?

Мишка Минчик услужливо ответил:

— Это очень просто, товарищ Ройтшванец. Вы можете, конечно, изучить музыкальные арии, но это вам совершенно не поможет, так как они слышат ушами одно, а ногами выводят совсем другое. Значит, вы должны изучить недозволенные прыжки. Отправляйтесь на улицу Карла Маркса в дом номер шесть, там молодой паразит Поль Виолон за какие-нибудь пять рублей немедленно разовьет вас, а тогда вы сможете честно выполнять ваши прямые обязанности дежурного.

Лазик пришлось отказаться от ужинов, чтобы выгнать необходимые пять рублей. Но Поль Виолон, он же, говоря иначе, Осип Кац, гордо заявил Лазик:

— За какие-нибудь пять рублей я могу вас научить отсталому вальсу, но американский фокстрот стоит десять рублей, потому что это запрещенная литература и я должен буду заниматься с вами в изолированном углу, среди драгоценных ковров.

Лазик пришлось отказаться и от обедов. Танцы давались ему с трудом. Осип Кац шептал:

— Молю вас, дергайте этой ножкой, так будет значительно шикарней!

Лазик потел, дергал ногой и для успокоения своей совести приговаривал:

— Я этим занимаюсь вовсе не для шика, но как обыкновенным китайским вопросом, потому что я безошибочный кандидат.

Закончив науку, Лазик иными глазами взглянул на танцующий молодняк. Это — ничего. Это — уже сомнительно. А это... Это!..

Он подбежал к таперу.

— Что за провокаторские мелодии вы исполняете, уважаемый товарищ?

— Вальс «Мечта».

— Хорошенький вальс!..

И, расталкивая танцующих, Лазик храбро ринулся к одной сугубо преступной паре. Он схватил рослого мужчину за бедра, ибо выше достать он никак не мог.

— Опомнитесь, сумасшедший гражданин! Вы знаете, что вы делаете? Вы делаете преступление. Как будто я не вижу, куда вы заходите вашей левой ногой! Он играет вальс из позапрошлого столетия, а вы плюете на него; вы

разлагаетесь на глазах у всего молодняка, как будто вы не в клубе служащих «Харчсмака», но на вулкане в Нью-Йорке. Я истратил десять кровных рублей, чтобы определять эти незаконные выходки. Я вас не отпущу отсюда. Я отведу вас к товарищу Серебрякову, потому что я безоблачный кандидат. Я сказал себе: «Лезь, Лазик», — и я лезу...

Высвободив свою ногу, высокий мужчина мрачно ответил Лазику:

— Во-первых, я сам Серебряков. А во-вторых, мы сейчас поговорим с вами, на что вы истратили десять рублей и как вы понимаете обязанности члена.

(Мишка Минчик, видимо, успел вовремя осведомить товарища Серебрякова.)

— Кандидат проводит вечера в отвратительном вертепе среди буржуазных подонков. Стыдитесь, товарищ! Вместо огромных проблем мирового движения или нашего хозяйственного строительства вас интересуют какие-то нездоровые забавы, эротические эксцессы, накипь нэпа. На что вы тратите ваше время?..

— Простите, товарищ Серебряков, я даже потратил на это десять рублей, и хоть идеологически время дороже денег, для меня деньги немножечко дороже времени, потому что у меня вовсе нет денег, а в Гомеле у меня было недавно шесть недель совершенно ненужного мне времени. Вы спрашиваете меня, на что я потратил эти кровные десять рублей? Я вам отвечу: на трактат об одном яйце. Это кусочек глупого Талмуда. Когда мне было тринадцать лет, я зубрил этот трактат с утра до ночи. Скажем, если курица снесла яйцо в субботу, можно его кушать или нельзя? С одной стороны, курица явно грешила, в субботу надо отдыхать, а она вздумала себе нести яйца, но, с другой стороны, она же вынашивала это яйцо в самые разнообразные дни, а в субботу она только облегчила свою душу. Я скажу вам, товарищ Серебряков, что существуют две фракции талмудистов, одни говорят, что субботнее яйцо чистое, другие говорят, что оно нечистое, и об этом яйце написано каких-нибудь сто невозможных страниц. Я никогда не мог понять, зачем столько дискуссий вокруг одного яйца, которое, наверное, скушал какой-нибудь престарелый дурак. Но вот теперь понимаю, что это замечательная наука. Вы спрашиваете, чем я занимался у молодого паразита? Яйцом. Если подвернуть

ногу налево, то это невероятный скандал, а если загнуть ее и чуточку присесть, так это самое честное занятие. Я боюсь оскорбить ваш безусловный стаж, товарищ Серебряков, но мне кажется, что вы вот этой ногой заглянули совсем не туда, хотя я еще подумаю над этим; может быть, такое авторитетное па можно истолковать иначе. Это, вероятно, зависит от того, к какой школе принадлежать, рассматривая яйцо, если к той, что...

— Хватит! Черт знает чем набита ваша голова! Я вам советую лучше заняться...

— Простите, я уже занимаюсь. Вся сущность в Ханькоу. Теперь мне остается...

— Да, да, вот об этом не мешает поговорить. Мало того, что вы сами развратничаете в притоне некоего Каца, мало того, что вы вносите в товарищескую атмосферу враждебный дух вашими глупыми выходками, вы еще проявляете тупое шкурничество в своем отношении к партии. Что значат эти слова: «Лезь, Лазик»?..

— Очень просто. Я предан светлой идее, и я лезу. У нас в Гомеле говорят: «Если нельзя перепрыгнуть, надо перелезть». Вы, конечно, полны ума и стажа. Вам ничего не стоило прыгнуть. Вы и прыгнули. А я? Вы же сами говорите, что у меня голова набита черт знает чем. Так мне остается только лезть, и я себе тихонечко лезу. Я прошу вас простить мне, что я вас схватил за авторитетную ногу. Я ведь знал только вашу роковую фамилию. Я не буду больше омрачать вашей атмосферы. Я ведь теперь понял, что иногда можно кушать эти яйца, если только...

Серебряков не выдержал. Он внушительно постучал кулаком по дубовому столу.

— Можете идти, товарищ. У меня слишком мало времени...

Вежливо кланяясь, Лазик удалился из кабинета. В дверях он, однако, успел договорить:

— Ну да, у вас слишком мало времени, чтобы терять его, как я, например, потерял мои кровные десять рублей...

В коридоре он встретился с Мишкой Минчиком.

— Что же вы скажете после разговора с товарищем Серебряковым? Как вам нравится их безусловная дисциплина?

— Я скажу, что это гораздо труднее, чем Талмуд. Но все-таки я попробую пролезть. Я еще остаюсь кандидатом, хоть я теперь немного затуманенный кандидат.



Мишка Минчик не успокоился. Он снова толкнул Лазика на безумный поступок. Произошло это в связи с циркуляром об изъятии из клубных библиотек идеологически вредных книг. Лазик числился библиотекарем, и, получив бумагу, он не на шутку взволновался. В циркуляре были перечислены тысяча семьдесят два названия, а в библиотеке клуба «Харчсмака» имелись всего-навсего три книги: «Пауки и мухи», задачник Евтушевского и монография поэтического стиля Демьяна Бедного. Ни одна из этих трех книг не значилась в присланном перечне.

— Теперь я вижу, что талмудисты были самыми смешными щенками. Что они придумали? Еврею, например, нельзя кушать осетрину. Потому что осетрина это дорого? Нет. Потому что это невкусно? Тоже нет. Потому что осетрина плавает без подходящей чешуи, и, значит, она вполне нечистая, и еврей, скушав ее, осквернит свой избранный желудок. Пусть это едят другие, низкие народы. Я вам говорю, товарищ Минчик, эти щенки разговаривали о каких-то блюдах. Но вот пришел наконец настоящий двадцатый век, и люди поумнели, и вместо глупой осетрины перед нами стоит какой-нибудь Кант, а с ним тысяча семьдесят одно преступление. Пусть французы на вулкане читают все эти нечистые штучки, у нас избранные мозги, и мы не можем пачкать их разными нахальными заблуждениями. Да, это замечательно придумано, и я не понимаю только одного: как я могу изъять эти книги, когда здесь нет этих книг?

— Если сказано «изъять», значит, надо изъять. Я вам советую, товарищ Ройтшванец, обыскать все это обширное помещение.

— Простите, товарищ Минчик, но где же я найду эти недоступные книги? Я сам понимаю, что надо очистить весь безупречный дом. Это как перед пасхой, когда ищут, не завалилась ли под шкаф корочка нечистого хлеба. Но в этом безупречном доме, кажется, вовсе нет книг. Я могу посмотреть в буфет, но там, конечно, только мелкоградусное пиво и вполне дозволенная колбаса. Правда, хорошие евреи, когда нет под шкапом корочки, нарочно под-

кидывают ее, чтобы было что сжечь; один еврей подкидывает, а другой еврей находит, и, конечно, оба понимают, что это смешные штучки, но зато они замечательно молятся и выполняют на все сто процентов свой строжайший циркуляр. Если б у меня был дома Талмуд, я принес бы его сюда и изъясил бы его отсюда. Потому что ведь Талмуд, наверное, значится в этом смертоносном списке. Но у меня нет Талмуда, у меня Талмуд только в голове, и я не могу изъять мою злосчастную голову.

— Зачем изъять свою голову, когда надо изъять только чужие книги, и это очень просто, стоит посмотреть в различных закоулках, например, в этом анонимном портфеле, может быть, в нем вы найдете заразные книги.

— Мне становится невыносимо лезть к моей светлой цели. Легче, кажется, утонуть в бушующем океане, который зовут почему-то Днепром, чем хватать чужие ноги или залезать в чужие портфели. Но я лезу к моим идеалам, я лезу, и я пролезу.

Товарищ Серебряков застал Лазика над раскрытой книгой.

— Во-первых, вы читаете черт знает что. А во-вторых... во-вторых... во-вторых, вы посмели залезть в мой портфель.

— Я вовсе не читаю этот смешной роман для чтения. Я его читаю для голого изъятия, и я не понимаю вашего справедливого гнева, товарищ Серебряков. Я думаю, что вы должны быть мне благодарны за то, что я очистил ваш авторитетный портфель от этой перечисленной заразы. Вы теперь должны простить мне заблуждение с вашей левой ногой. Вы ведь испугались, что я могу отравиться этой осетриной, но вы ее носили в своем портфеле, и вы, наверное, отравлялись ей, хоть она решительно без чешуи. Почему же вы снова сердитесь на меня? Вы снова кричите «во-первых» и «во-вторых». Я прошу вас, не томите мою слабосильную душу. Крикните уже «в-третьих», и тогда я буду знать, что мне делать. Тогда я, может быть, начну спешно нюхать все цветы или глядеть на растроченные зря звезды.

Товарищ Серебряков, однако, не сказал «в-третьих». Он только зловеще усмехнулся.



Товарищ Тривас занимался со служащими «Харчсмака» согласно новейшей системе. Скучные лекции он заменял непринужденной беседой: Он начинал сразу с дружеского обмена мнений или же с ответов на неподанные записки.

Так было и теперь. Поглядев на восторженное личико Лазика, товарищ Тривас сказал:

— Ну! Задавайте вопросы.

Лазик задрожал.

— Я еще не совсем знаю, о чем я должен сейчас спрашивать: о чистом разуме муравьев или о позорной ливрее какого-нибудь амстердамского мясника?

— В таком случае я задам вам вопросик. Как вы смотрите, например, товарищ, на половые функции в свете этики образцового члена ячейки?

— Простите, но я еще не подготовился к этому. Может быть, вы спросите меня о чем-нибудь другом, например, о Чанг-Тсолине или даже о стокгольмском съезде? Я ведь не знаю никаких половых достижений. Правда, в Гомеле я встречался с дочерью служителя культа, с бывшим товарищем Феней Гершанович. Но мы оба были совершенно беспартийными, и у нас не было никаких функций, если не считать моих чисто патологических вздохов. Конечно, теперь к бывшему товарищу Гершанович примазался один настоящий член ячейки, скажем, товарищ Шацман, но я думаю, что это перечисленный фокстрот или даже хищническая концессия, потому что Феня Гершанович любит шумные туалеты, зато у пол, а у Шацмана нет никакой этики, зато у него стопроцентное положение, и все вместе это исключительно функции, как у несознательных паразитов, но нет ни горячей любви, ни чисто пролетарской сирени, которая доводит мое преданное сердце до этих публичных слез.

И вспомнив лиловый капот Фени Гершанович, Лазик заплакал к общему удовольствию скучающих служащих «Харчсмака».

Хоть Лазик орошал свои брюки самыми обыкновенными слезами, товарищ Тривас в восторге закричал:

— Вот она, типичная розовая водица мещанской надстройки! Мы должны покончить с позорными предрас-

судками. В основе пол — это голое средство размножения, и поскольку в дело не вмешивается капитализм Мальтуса и прочие перегородки, мы можем рассматривать так называемую «любовь» как строго производственный процесс двух кустарей-одиночек. Чем короче он, тем больше времени остается у пролетариата для профсоюзов и для кооперации. Что же касается слез выступавшего товарища, то они характерны как пережиток собственности, когда фабрикант рассматривал товарища-женщину как свои акции. Этому пора положить предел. Я не возражаю против самих функций, поскольку вы — бодрый молодец, но, услышав слюнки о любви, знайте, что это преступное втирание очков, и, как паршивую овцу, гоните прочь всякого, кто только вздумает заменить железный материализм какой-нибудь любовной кашецей.

Лазик послушливо высморкался. Минчику он признался:

— Это в десять раз труднее, чем хедер. Там нас учили, что на свете существует очень много вкусных вещей, которые нельзя кушать. Это глупо, но это ясно. А здесь нам говорят: «Вы можете кушать хотя бы выдуманные Левкой бананы, но вы должны их кушать как самую низкую картошку, вы не смеете улыбаться или даже плакать от контрабандного счастья, нет, вы должны посыпать их какой-нибудь обыкновенной солью». Я боюсь, что я на всю жизнь останусь мрачным кандидатом, потому что мне легче умереть среди заноз и паутины, нежели забыть, как пахнет сумасшедшая сирень.

Вечером Минчик повел печального Лазика в парк. Это было чрезмерно жестоким утешением. Лазик видел на небе звезды и на земле цветы, пышные, как пережитки. Беспартийные парочки целовались под кустами. Вдруг Минчик остановил Лазика:

— Ты видишь эту разлагающуюся девицу? Это же не кто иной, как товарищ Горенко, член нашего клуба «Харчсмак». Она сегодня была на лекции товарища Триваса, но можно сказать, что она там не была, потому что она себя ведет как самая паршивая овца. Я думаю, что тебе нужно действовать, дорогой товарищ Ройтшванец.

— Я не хочу быть черным высматривателем. Я не хочу губить эту отсталую душу, которая любит, как и я, позапрошлую сирень.

— Кто говорит, что ты должен ее губить? Ты должен спасти ее от самых ужасных последствий. Ты должен

спасти ее, а с ней и этого несчастного мужчину от какой-нибудь беспощадной комиссии. И потом я грозно спрошу тебя: ты все-таки кандидат, товарищ Ройтшванец, или ты сразу готовый отступник в ливрее?

Лазик робко подошел к парочке. Он не видел лиц. Он только слышал страстный шепот:

— Я люблю вас, Аня! Мы уедем в Крым. Ваши губки как роза...

Лазик вскрикнул:

— Я умоляю вас, прекратите сейчас же эту противозаконную демонстрацию! Может быть, я сам мечтал о подобных предпосылках, хоть я люблю не розы, а сирень или даже несуществующую орхидею. Но я не могу видеть вашего жестокого самоубийства. Дорогие кустари-одиночки, я тоже кустарь, и я тоже одиночка. Я срочно скажу вам, вы должны заниматься половым производством, а у вас вместо голого пола выходит какой-то упраздненный Крым. Я заклинаю вас, во имя контрольной комиссии немедленно замените этот ангельский разговор одной вполне дозволенной функцией.

На этот раз товарищ Серебряков даже не усмехнулся. Он только взглянул на Лазика, и Лазик сразу понял все. Он быстро побежал прочь. До утра он бегал по опустевшим аллеям парка, а утром он напугал парикмахера Жоржа, то есть Симку Цукера, загадочной просьбой:

— Побрейте меня сильнее, товарищ Жорж, побрейте меня до самого основания, раз и навсегда, на шесть недель, может быть, на все шесть лет! Чанг-Тсолин, конечно, разбит, и мы можем улыбаться. Но остается недоступная мне функция... Теперь он, наверное, скажет «в-третьих», и я, Лазик Ройтшванец, затихну среди вековых паутин.



— Вы скрыли ваше темное прошлое и восемьдесят седьмую статью уложения. Вы пытались укрепить свое положение нелепыми доносами. Вы проявили чуждую нам идеологию: антисемитизм, мистицизм и болезненную эротику. В беседах с одним молодым товарищем вы приравнивали разумную дисциплину к каким-то средневековым пережиткам. Отвечайте!

— Может быть, я могу, как товарищ Тривас на своих мировых лекциях, вовсе не отвечать вам стройным хором, но задавать небольшие вопросы? Это доведет наш текущий момент до великой диалектики. Я, например, спрошу вас — зачем мне было скрывать восемьдесят седьмую статью? Ведь это же не пфейферские брюки. Я столько говорил о моих шести вековечных неделях, что это надоело даже буфетной колбасе. Когда я раскрывал рот, бодрый молодняк «Харчсмака» убежал от меня, как от одной гомельской бочки, восклицая: «Этот Ройтшванец снова начнет жаловаться на свою занозливую тюрьму». Другой вопрос: кому я, извиняюсь за черное выражение, громко доносил? Я только тихонько шепнул одному авторитетному члену об его собственной ноге. А если я потревожил функции товарища Горенко и этого неназываемого кустаря-одиночки, то исключительно в порыве безусловной дисциплины. Третий вопрос, как я могу быть кошмарным антисемитом, если я сам стопроцентный еврей из Гомеля? Вопрос четвертый, и совсем небольшой: что такое «болезненная эротика»? Если это некоторые функции, то я, увы, ими вовсе не занимался, ни в здоровом, ни в больном положении, за что и был справедливо поруган товарищем Тривасом при стечении всего бодрого молодняка. Я могу задать вам еще сто вопросов, но я не хочу у вас отнимать ваше знаменитое время. Я только спрошу вас, товарищ Серебряков, почему же вы, гуляя ночью в ароматном парке, не украсили вашу авторитетную грудь каким-нибудь сигнальным фонариком? Почему вы не опечатали вашего портфеля вопиющей печатью? Почему, заходя левой ногой, вы не крикнули в огромный рупор, что это заходите именно вы, а не я и не другой Ройтшванец? Почему вы смущали мою неокрепшую душу вашим безмолвным мистицизмом?

Товарищ Серебряков иронически прищурился.

— Это все?

— Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать о вашем «молодом товарище». Его, конечно, нужно поблагодарить. И я говорю ему: народное мерси, дорогой товарищ Минчик! Ты теперь, конечно, вместо трепещущего кандидата станешь вполне стойким членом, и вот я предлагаю тебе немедленно жениться на одной драгоценной особе. Правда, у нее злополучная фамилия, но это может помешать какой-нибудь колоратурной певице, а она вовсе не певица, нет, она только гуляет по улицам Гомеля,

и если ты женишься на ней, дорогой товарищ Минчик, вы сможете гулять вместе, и это будет настоящая международная мелодия.

Товарищ Серебряков нахмурился.

— Это все?

— Нет, это еще не совсем все. Так как я неслыханно осмелел от моего грохочущего провала, я хочу вам сейчас же высказать одну мысль, курчавую, как предстоящая мне борода. Вы, конечно, знаете, что отсталые евреи верят в Тору. Тора — это такой закон, который свалился прямо-таки с неба, и вот они нянчатся с Торой, как вы нянчитесь с вашей безусловной дисциплиной. Каждое утро они благодарят бога, что он им подарил эту невыносимую Тору. Они ее читают и перечитывают, из одного закона они делают тысячу, и они не могут в субботу курить, и они не могут кушать какие-нибудь битки в сметане, и они ничего не могут, они стопроцентные ослы, и это понятно каждому марксисту. Но вот раз в год они открывают со своим выдуманном богом. Они говорят с ним вполне по душам, как я говорю сейчас с вами. Евреи обязаны радоваться исходу из Египта, хотя, может быть, они именно хотят теперь попасть в этот потерянный Египет, и они радуются, потому что таков закон; они едят толченые орехи и они пьют сладкое вино. Вот тогда-то они и начинают прямой разговор с богом. Конечно, они не ругаются, они говорят, как роскошные дипломаты; ведь если нужно подпустить позпрошлую вежливость, беседа с каким-нибудь эстонским послом, то тем паче евреи надевают на свои слова смехотворные фраки, когда им приходится говорить своему избранному богу довольно-таки неприятные вещи. Они начинают издали, чтобы не обидеть бога. Они расшаркиваются перед ним: «Если бы ты только вывел нас из Египта и ничего больше не сделал, то и это было бы хорошо». Они подходят с другой стороны: «Если бы ты дал нам манну и ничего больше не сделал, то и то было бы хорошо». А потом им надоедает, и они уже с нахальным отчаянием говорят: «Но если бы ты нас вывел, и если бы ты нам дал манну, и если бы ты вовсе не дал нам этой самой Торы, то было бы замечательно хорошо». Это, конечно, можно говорить только раз в год, когда это стоит вот здесь в горле, и вот я говорю вам это, товарищ Серебряков.

Грозно крикнул товарищ Серебряков:

— Это наконец-то все?

— Это почти все, но это еще не все. Я отчислил один рубль восемьдесят копеек в пользу общества «Руки прочь от Китая», хотя я вовсе не собираюсь хватать этих трех-сложных китайцев своими руками, у меня и так от них разрывается слабосильная голова; но я с удовольствием оплакал мой один кровный рубль семьдесят копеек. Пусть их никто не хватает. Зачем залезать руками в какой-нибудь сплошной Китай? И затем я понимаю, что служащий «Харчсмака» должен буйно приветствовать возрождение самого последнего Востока. Против этого я не возражаю. Нет, меня занимает один роковой вопрос: что, если я устрою добровольное общество «Руки прочь от несчастного Ройтшванца», с уставом и с вопиющей печатью, скажите мне, подействует это или нет? Я, конечно, не попрошу у вас, товарищ Серебряков, никаких восторженных отчислений, вроде оплаканного мною одного рубля семидесяти копеек. Нет, теперь меня интересуют не деньги, а время, то есть предстоящие мне шесть недель или даже шесть лет. Я хочу знать, как отнесется к этому мощному обществу какой-нибудь новый Минчик и станут ли меня после таких восторженных лозунгов хватать бескорыстными руками?

Здесь товарищ Серебряков не выдержал. Задыхаясь, он крикнул:

— Это все? Это все?

— Это, кажется, все. Нет, это не все. Мне остается сказать вам одну вполне интимную новость: вы можете теперь со мной не церемониться, так как я вас все равно перехитрил с самого утра. Вы еще только сидели и думали, что бы такое сделать с Ройтшванцем, а я уже все понял, и я моментально побрился.



Прошло несколько недель. Опали деревья в «Пролетарском саду», товарищ Аня Горенко проследовала вместо Крыма в лечебницу. Поля Виолона увезли куда-то на восток. Только Днепр по-прежнему сверкал под роковым обрывом. Как-то утром Лазик, весь заросший рыжей бородкой, постучался в дверь Мишки Минчика.

— Так ты не женился на Пуке? Жаль! Ты по крайней

мере стал непрерывным членом. А она? Она ничего не получила. Я, скажу между нами, я боюсь, что она останется навеки бездетной, эта замечательная гражданка. Но ведь такие мелодии не должны замирать без следа. Впрочем, я вовсе не хочу насилловать твоих свободных функций. Я пришел к тебе совсем по другому делу. Мне придется покинуть Киев, как я уже однажды покинул родной Гомель. Это законы природы, я чувствую, что мне предстоит полный круговорот. Думал ли безответный Мотель Ройтшванец, что его замогильному сыну предстоит такая бурная жизнь? Но я не плачу. Я утешаю себя словами одного умного цадика. Он сказал, что двигаться — это значит жить, а сидеть на одном месте — это значит умереть. Самая скверная кляча лучше самого пышного дворца. По-моему, еврей, который не двигается, это даже неприлично, это как поломанный паровоз. Итак, я покидаю Киев. Я разучился кроить брюки, и я не могу стать удивительным спецом, потому что я вовсе не знаю государственного языка. Я выучил десяток слов, не считая авторитетных имен, но оказалось, что это вовсе не украинские, а белорусские слова. Меня учил Юзя-настройщик, и он, конечно, надул меня. Я решил уехать в маленький городок, где нет ни бурных рек, ни грохочущих фокстротов, ни таких государственных языков, как, скажем, твой язык, Минчик. Ты думаешь, что я пришел к тебе проститься и поцеловать твои бритые ежедневно щеки? Как же я могу подобной глупостью отрывать тебя от твоих великих забот? Нет, я пришел, чтобы прежде всего спросить тебя — скоро ли установится настоящий мир, то есть после нашей смерти или до нашей смерти?

Мишка Минчик бодро сплюнул.

— Какие тут могут быть разговоры? Конечно, до. Это зависит от одного-другого урожая и от полного уничтожения Чанг-Тсолина. Это дело плевых минут.

Лазик радостно улыбнулся.

— Очень хорошо, что ты так думаешь, Минчик. Скажи мне теперь: в этом настоящем мире у каждого будет своя часть и все эти части будут равны — так или не так?

— Конечно, так, за исключением паразитов, которых тогда вообще не будет.

— Теперь послушай меня, Минчик, я пришел к тебе с очень выгодным предложением. Я хочу тебе продать мою часть за какие-нибудь десять несчастных рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня за уроки

позорных телодвижений тоже десять рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня мою свежую часть в этом будущем мире, и я согласен выдать форменную расписку.

— Ты что же, сошел с ума, Ройтшванец, после стольких злодейских прыжков? Как ты смеешь предлагать мне, проверенному марксисту, какой-то мистический кукиш?

— Почему ты сердишься? Это вполне здоровый товарообмен. Я от тебя не скрою, что я надул Арона Кагана, но тебя я вовсе не собираюсь надувать. Арон Каган купил у меня совсем другое. Он, как и всякий отсталый продукт, верил в загробную жизнь. Ему было мало, что он был в Гомеле строительным подрядчиком и каждый день кушал курицу, он захотел кушать курицу на небе, и так как он был неслыханным обжорой, он, наверное, побоялся, что ему дадут там слишком мало, ну, какую-нибудь лапку или крылышко. Каждому еврею приготовлена одна часть в будущей жизни, и вот я продал Арону Кагану мою часть. Я его надул вдвойне. Во-первых, я уже однажды продал эту часть, еще будучи мальчиком, в хедере, я ее проиграл, когда я играл с другими мальчиками на пуговицы. Конечно, Кагану я об этом не сказал, потому что нельзя же продавать уже проданную вещь. А во-вторых, я знал, что я умнее его и что существует, скажем, обыкновенный газ или печальные кости, но никаких загробных блюд. Кагана я надул, но с тобой я веду вполне деловой разговор. Я тебе предлагаю самую настоящую часть в настоящем мире. Если ты стойкий член и веришь в наше светлое торжество, как же ты не хочешь мне дать десять переходных рублей ради такого близкого счастья?

— Мне некогда слушать твой смешной бред, Ройтшванец. Отправляйся лучше в какое-нибудь сатирическое обозрение, если у тебя такой пышущий талант. Я тебе дам один рубль, чтобы ты сейчас же ушел отсюда.

— Нет, ты мне дашь кроме этого рубля еще девять других рублей. Билет ведь стоит червонец, и я должен уехать отсюда. Если я останусь в Киеве, я останусь у тебя, Минчик. Я, может быть, перережу себе шею твоим пролетарским ножом или я повешусь на твоих честных подтяжках. Посмотрим, что ты тогда скажешь с твоим государственным языком! Ты будешь дрожать, как самая маленькая дробь. Дай мне еще девять рублей, и я уеду далеко отсюда, чтобы начать тихую жизнь бывшего кандида-

та в каком-нибудь бывшем парке, среди бывших или даже не бывших цветов.

Велика сила человеческого слова: два часа спустя Лазик гордо подошел к железнодорожной кассе, сжимая в руке все десять рублей.



В вагоне было тепло, накурено, уютно. Лазик, блаженствуя, жевал охотничью колбасу. Вдруг один из пассажиров, глядя на Лазика в упор, спросил:

— Простите, гражданин, вы не Пыскис ли из Белгорода?

Лазик затрясся.

— То есть как это Пыскис? Я прошу вас прекратить подобные намеки. Я всего-навсего Ройтшванец, и я, кстати, не из Белгорода, а из Гомеля. Я вовсе не знаю, кто этот Пыскис. Может быть, он последний растратчик? Может быть, он выстрелил в кого-нибудь? Тогда при чем тут я, если у меня билет до самой Тулы и трудовая книжка?

— Да вы не обижайтесь! Этот Пыскис не убийца, а дантист. Правда, у моего сослуживца Егорова он вырвал четыре здоровых зуба, и Егоров обещал его отлупить. Так это Егоров, а не я. Я ведь только из любопытства спросил. Вот какое сходство! Курьезы природы...

— Хорошенькие курьезы! У нас в Гомеле был сапожник Шайкевич. Он пил крутлый год «пейсаховку» и ругал соседа Вульфа «полосатой блохой». Так вот, пришли белые, и они вдруг объявили, что этот Шайкевич переодетый командир Конной армии, хоть все в Гомеле знали, что Шайкевич умер бы от страха, если бы его посадили верхом на живую лошадь, даже в самое мирное время, но его все-таки расстреляли как конного командира. Этого вам мало? Так я могу сказать вам, что подрядчика Закса прикончили потому, что он был похож на какого-то денкинского генерала, хотя опять-таки все великолепно знали, что Закс играет в «стуколку» и ревнует жену, а генерал, наверное, стреляет из пушки или скачет, как безумный, по пылающему полю битвы. У Закса, видите ли, был подозрительный подбородок. А после всего этого вы

сидите напротив меня в честном, то есть жестком вагоне и пьете чай, я жую себе колбасу, и вы говорите вслух, что я — это не я, а загадочный Пыскис. Я же могу умереть, если не из-за подбородка, так из-за носа!..

— Бывает! Как говорится — судебные ошибки. Вот и у нас в Белгороде доктора Ростовцева приняли за какого-то Ростовцева из сарапульской Чеки. Ну, и крышка. Совпадение! Время, конечно, такое. Здесь и обижаться не на кого. Лес рубят — щепки летят. Мало, скажете, народу погибло? Зато утраилось. Без этого дела не сделаешь.

Пассажиры лениво позевывали. Лазик не вытерпел. Долго он уговаривал себя: молчи, Лазик! Он и вправду все утро молча жевал колбасу. Зато теперь он разошелся.

— Конечно, если этот доктор такая же важная птица, как, скажем, Лазик Ройтшванец, то он мог заранее лечь в готовую могилу, потому что, когда гуляет по улицам сто-процентная история, обыкновенному человеку не остается ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах. Это китайское дважды два, и это понятно всякому. Но ведь мы с вами не история. Мы только злополучные попутчики какого-нибудь жесткого вагона, и мы можем сказать прямо: почему это анонимный доктор должен был платить за великую фазу? Может быть, у этого доктора даже были милые детки? Может быть, ему попросту хотелось жить еще двадцать пять лет? Я его никогда в глаза не видел, но я понимаю одно: он был, наверное, обыкновенным человеком, а вовсе не каким-нибудь денежным знаком, чтоб его совали в билетную кассу. Почему же вы жестоко пьете ваш чай и не хотите понять этой простой трагедии? Вы думаете, если убить человека и припечатать его вопиющей печатью, как будто это не живой труп, а только дважды два замечательного будущего, кровь перестанет быть кровью? Я хотел бы лучше лежать вместе с этим законченным доктором, нежели слушать такое бездушное умножение. Я не умею сделать из моих чувств грохочущий реферат, но я расскажу вам сейчас одну суеверную историю.

Я слышал ее в моем кровном Гомеле от старого нищего Берки. Это история о бердичевском цадике, но, может быть, это история о Герше или даже о каком-нибудь докторе. Вы вовсе не обязаны верить в разные пережитки, вы можете сознательно думать, что бог это такое же глупое предположение, как китайское дважды два.

Значит, в Бердичеве жил один знаменитый цадик.

Конечно, надо вам сказать, что цадик — это вполне благочестивый человек, это настоящий вождь своего местечка. А бердичевский цадик считался чуть ли не святым, до того он был добр и умен. Потом, он разговаривал с богом запросто, безо всякой там дипломатии. Он разговаривал с ним не на том невыносимом языке, на котором написаны разные старые книги, нет, он разговаривал с богом на самом обыкновенном жаргоне, как разговаривает один еврей с другим. Он сердился на бога, он его уговаривал, он ему доказывал все толком, и он считал с ним по пальцам, и он смешил бога, так смешил, что бог смеялся на весь свет, и в Бердичеве стекла дрожали от этого небесного смеха. Словом, он умел, когда нужно, заговорить бога, только чтобы спасти какую-нибудь человеческую жизнь. Можете вы себе представить, как в Бердичеве уважали мудрого цадика, его уважали и его любили, потому что, я уже говорил вам, он был самым добрым человеком на земле. Он, кажется, боялся пройти по смешной траве, чтобы трава не расплакалась.

Конечно, Бердичев большой город, и кроме цадика в нем жили другие евреи, в нем жил, например, некто Майзель, и я даже не знаю, как его назвать. Скорей всего, он был закоренелым паразитом. Он был стопроцентным спекулянтom, и наш гомельский Райкин по сравнению с ним — слепой щенок. Он хапал деньги, не стесняясь никаких уложений. Он давал ссуды под заклад, и он раздевал догола бердичевских простаков. Он скупал дома, и кто знает, сколько евреев он оставил без крова, так что они даже не знали, где им зажечь субботние свечи. Но вот у каждого насекомого бывают свои прыжки. Этот Майзель раз в год терял черную линию. У евреев существует Иом-Кипур — это день самого высокого суда; тогда нужно поспешно каяться, и вот каждый год в Иом-Кипур этот нахальный Майзель плакал неподдельными слезами. Он вовсе не выдавливал из себя несколько приличных капелек, нет, он обливался настоящими слезами, потому что он хорошо видел, что он самый последний злодей. В Иом-Кипур он отдавал все свои деньги нищим. Он бил себя в грудь кулаком и отчаянно вопил. В этот день он боялся взглянуть на цадика, потому что глаза цадика жгли его, как угли, он корчился под ними. Но вот наступал следующий день, и он просыпался утром как ни в чем не бывало. После дня поста он кушал две курицы. Он снова хапал деньги, и если вчера он отдал бедняку украденные у него сто рублей, сегодня он спешил вернуть их

какой-нибудь новой хитростью. А встретив цадика, он не опускал глаз, нет, он даже засовывал руки в карманы.

— Сегодня, кажется, не Иом-Кипур? Когда придет срок, я, может быть, снова покаюсь. А пока что я устраиваю мои дела. Говорят, что даже бог не любит бедных, почему же я их должен любить? Я люблю только хорошие деньги, и вы можете оставить меня в покое с вашими вопросительными взглядами.

Мудрый цадик мог беседовать с богом, но в сердце Майзеля он не мог проникнуть. Майзель оставался ужасным злодеем, и все в Бердичеве боялись Майзеля; его боялись и его ненавидели.

Теперь я должен что-нибудь сказать о третьем человеке, о старом Герше, но я не знаю, что можно о нем сказать. Он был стар, как наша земля. Он был уродлив, как уродливо горе. Он был несчастен, как может быть несчастен старый еврей, у которого нет ни жены, ни детей, ни угла, ни копейки. Ему было, кажется, шестьдесят лет. Из его больных глаз текли постоянные слезы. Если он не спешил умереть, то, может быть, потому, что у него не было денег на саван. А может быть, и не потому. Может быть, ему попросту хотелось жить, как хочется жить мне и вам, как хотелось жить этому законченному доктору. Словом, он не спешил умереть. Он, как и мой безответный отец, стирал постыдное белье. Когда в доме бывало такое белье, что его стыдились давать служанке, приходил старый Герш, брал белье и уносил его куда-нибудь за город.

Цадика все любили, Майзеля все ненавидели, а на старого Герша никто не обращал внимания. Он мог бы умереть, и никто бы не вздохнул; постыдное белье дали бы другому старику — Лейбе или Элии. Но он не умирал. Он тихо жил, и только цадик иногда заглядывал в его глаза, полные готовых слез. Тогда глаза цадика загорались, как угли.

Теперь вы знаете, кто жил в Бердичеве, и я могу сказать, что Майзель наконец-то умер. Конечно, можно говорить, что он умер от божьего гнева, но я думаю, что он умер от переполнения желудка, потому что он один, кажется, кушал всех бердичевских куриц. Его похоронили как подобает, то есть нищие про себя смеялись от счастья, а вслух они плакали от обязательного горя, потому что они получали за свои вздохи старое платье и какое-нибудь мясо с подливкой.

Тогда-то злодей Майзель предстал перед богом. Вы,

конечно, знаете, как об этом говорят позапрошлые люди. Сидит, скажем себе, бог, и он судит мертвого человека. Он должен еще решить, куда идти этому отчаявшемуся трупу — в рай или в ад, — как будто человек даже после смерти не может лежать тихонько в могиле. Что делать, ведь люди очень любят судить. Меня тоже судили в Гомеле по одной сумасшедшей статье из-за приснившегося им флага, и я знаю, что ничего нет приятнее для человека, как сесть выше всех на один аршин и начать читать невозможные уложения. Когда люди выдумывали бога в какой-нибудь старой комиссии, они его сделали, конечно, по своему замечательному подобию. Они захотели угодить ему: «Ты будешь судить нас, как самый невыносимый судья».

Майзель предстал перед богом, и это было как раз в Иом-Кипур. В Бердичеве живые евреи постились и каялись, как каждый год. Цадик пел в синагоге свою надрывающую молитву, а из глаз Герша текли постоянные слезы. Они, конечно, не знали, что вот в эту самую минуту господь судит жулика Майзеля. А на небе уже шла работа. Притащили огромные весы, и все начали говорить в полное удовольствие. Жаль, что не было при этом товарища Ландау из нашего гомельского суда, — вот где бы он мог показать все свое затихнувшее красноречие. Сначала, конечно, выступил прокурор, то есть, умоляю вас, не ищите в этом никакого текущего намека — это был самый настоящий черт, и он приводил все статьи уложения. Он требовал, чтобы умершего паразита предали ему для какой-нибудь высшей меры. Потом заговорил правозаступник, и он заговорил, и он говорил, и он ссылался на все его происхождение, и он бил себя в грудь крылом, пока богу не надоело. Бог, конечно, схватил звоночек, и у всех бердичевских евреев сразу зазвенело в ушах:

— Довольно! Теперь пора уже вешать на весах дела этого мертвого Майзеля.

Ангелы быстро стали кидать на одну чашу разные шумные злодеяния: здесь были слезы бедняков, и жалобы вдов, и крики голодных детей, и все это самого первого сорта, так что черная чаша со страшным грохотом ударилась о какое-нибудь облако. Тогда на другую чашу ангелы стали накладывать совсем смешные капли. Да, они не клали добрые дела Майзеля, хоть он в Иом-Кипур и раздавал награбленное нищим, нет, они только клали на чашу разные крохотные капельки. Майзель совсем при-

уныл: какие же тут могут быть разговоры? С одной стороны — куча злодейств, может быть, на сто тысяч целковых, а с другой стороны — кувшин соленой водицы. Но что же он видит? Светлая чаша мало-помалу опускается вниз. Конечно, будь это приличные слезы, они бы весили мало, но я ведь сказал вам, что это были настоящие слезы, которые текли из самого сердца, и они весили пуд, если не все сто пудов. Чаши остановились — ни одна не может перетянуть другую. Поровну оказалось добрых и злых дел в жизни мертвого Майзеля. Тогда сконфузились ангелы и даже сам бог. Никто не знал, что делать дальше, а Майзель стоял и дрожал, но в голове его уже бродило новое злодейство. Улучив минуту, когда бог отвернулся, чтобы поглядеть, что делается в какой-нибудь Америке, жулик Майзель схватил с черной чаши одно ужасное дело и быстро засунул его в карман. Но, наверное, Майзель был уже не первым, и бог устроил весы так, чтобы они выдавали подобные обманы. Только-только Майзель совершил свою загробную низость, как черная чаша с двойным грохотом ударилась об облако, и все поняли, что Майзель хотел надуть самого Бога, после того как он надул уже тысячу людей.

Здесь даже заступник отказался от своего пышного красноречия: он не хотел защищать подобного злодея. Но выдуманый бог все-таки хоть чем-нибудь да лучше обыкновенных людей, и он сказал ангелам:

— Я вовсе не хочу без последней речи отправить этого Майзеля в ад. Скажите мне, кто из вас хочет защищать такое последнее преступление?

Но ангелы, конечно, признанные трусы, они побоялись нарушить небесную дисциплину.

— Мы не хотим защищать подобного злодея, но если ты обязательно хочешь, чтоб его кто-нибудь для виду защищал, то ты можешь вызвать сюда бердичевского цадика, потому что еще не было случая, чтоб он отказался защищать самого постыдного человека.

В синагоге евреи увидели, что цадик, не допев своей надрывающей молитвы, вдруг уснул. Они, понятно, удивились, но они не попробовали разбудить его: если мудрый цадик уснул, значит, так нужно. Они продолжали молиться.

Они думали, что цадик уснул. На самом деле цадик поднялся вверх, и он предстал перед богом, и даже, не успев оглядеться по сторонам, где сидит какой ангел, он

сразу начал защищать мертвого Майзеля. Он не перечислял его добрых дел, и он не показывал на кувшинчик с соленой водой. Нет, он сразу начал наседать на бога. Он сразу схватил бога за живое:

— Спрашивается, за что ты его судишь? За то, что он здесь совершил еще одно злодейство? Я думаю, что одним злодейством больше или меньше — это никому не интересно. Если он надувал невинных детей, то это немножечко хуже, чем смешная история с твоими весами, потому что их он действительно надувал, а тебя он только попробовал надуть, и это по своей полной невинности, как дитя пробует надуть отца. Если же ты его судишь за то, что он плохо жил на земле, я тебе отвечу, что в этом виноват вовсе не мертвый Майзель. В этом виноват скорее всего ты. Если бы ты сначала показал людям рай, они все были бы такими замечательными, как эти выдуманные ангелы, но ты ведь показал им сначала самый настоящий ад, потому что ты не станешь отрицать, что жизнь это ад и это даже два раза ад. Что же ты удивляешься, если они в аду жили так, как будто они в аду? Ты еще хочешь теперь взять этого мертвого Майзеля и снова посадить его в ад. Где же тогда справедливость, и зачем ты говоришь, что ты судишь людей? Ты их тогда, скорее всего, пытаешь, и это можно делать безо всяких весов, как делают люди на земле. Значит, ты должен немедленно оправдать этого мертвого Майзеля.

Бог, конечно, ничего не мог возразить против таких умных слов, и он смутился. Он закричал:

— Хорошо! Отведите этого мертвого Майзеля в самый пышный рай.

Бердичевский цадик мог бы вернуться обратно в Бердичев, но он заметил, что бог сегодня в хорошем настроении и уже немного растроган его жаркими доводами. Цадик подумал: нужно воспользоваться этой минутой, нужно доказать богу, что он довольно уже испытывал человеческое терпение, что люди в Бердичеве, да и в других местах, очень несчастны, что пора наконец-то послать на землю какого-нибудь выдуманного Мессию, чтоб он сейчас же спас все обширное человечество. Цадик не сошел вниз. Он продолжал стыдить бога и уговаривать его. И бог начал поддаваться. Он уже растерянно улыбался, и он успокаивал бердичевского цадика:

— Почему ты так волнуешься? Я ведь не говорил, что я не пошлю Мессию. Наоборот, я сказал, что я его обяза-

тельно пошло. Может быть, ты и прав, говоря, что настало время. Давай-ка обсудим с тобой этот вопрос. Который у нас теперь год на земле?..

Я говорю вам, что бог уже готов был согласиться, но здесь-то произошла заминка. Евреи в синагоге, конечно, не видели цадика, который беседовал с богом, но цадик, стоя на небе, очень хорошо видел всех евреев в синагоге. Он видел, что из-за его разговора с богом затянулась молитва и, значит, затянулся пост. Легко поститься в двадцать лет, но не в шестьдесят. И вот вдруг цадик видит, что старый Герш падает на пол без чувств. Шутка сказать — со вчерашнего дня он ничего не ел и ничего не пил. Цадик понял, что, если сейчас же не кончится молитва, старый Герш умрет на месте. И цадик сказал богу:

— Я, может быть, поступаю очень глупо. Я должен был убедить тебя, что больше ждать нельзя. Тогда бы ты спас все обширное человечество. Но я не могу сейчас больше с тобой разговаривать, потому что мне некогда: если я останусь еще один час на небе, старый Герш, который стирает в Бердичеве постыдное белье, обязательно умрет. А где это сказано, что я имею право заплатить за счастье всего обширного человечества жизнью старого Герша?

И он, не кончив разговора, слез с неба. Он поспешил допеть свою уже бесполезную молитву и закончить пост. Конечно, может быть, Герш умер через год, но он не умер в тот вечер, Цадик не сунул его, как билет, в какую-нибудь железнодорожную кассу.

Вот что я хотел вам рассказать, мои злополучные попутчики. Вы, конечно, можете пить ваш чай и оправдывать черное сердце какой-нибудь великой историей. Я скажу вам только одно: хорошо, этот доктор уже лежит в глухой земле, и не один доктор. Но скажите, что же вам выдали в вашей замечательной кассе?..



азик умел артистически кроить брюки. Что бы там ни говорил Пфейфер и другие недоброжелатели, я стою на своем: куда тут Цимаху с его якобы английским фасоном! Но в Туле было немало своих портных, граждане

меланхолично отвергивались, проходя мимо сверкающих вывесок. Это ведь только в бабьих сказках Тула кует самовары и печет пряники, на самом деле Тула сокращает штаты. Ножницами Лазик не прожил бы здесь и дня. Спасла его знаменитая диалектика: если сокращают, значит, набирают. Это закон природы: одного человека выгоняют из комнаты, вместо него сажают другого, а выгнанный, он, конечно, тоже должен кушать, если его выгнали из одной комнаты, он может войти в другую, ибо земля, вопреки глупому Талмуду, вертится, и на ней вертятся все бурные сотрудники всевозможных подразделов.

Не прошло и недели, как Лазик нашел подходящую дверь. Он стал сотрудником губернского отдела животноводства, и ему было поручено следить за размножением во всей Тульской губернии породистых кроликов, так как центр установил, что это одна из наиболее выгодных разновидностей предстоящего сельхозяйства.

Войдя в открывшуюся перед ним дверь, Лазик бодро оглядел поле своей будущей деятельности в виде стола с грязной промокашкой и спросил курьершу Дуню:

— Простите, товарищ, где же они?..

Дуня зевнула.

— Да где же им быть сейчас? Дома, чай пьют. Или у Марии Игнатьевны.

— Тс-с! Я вас спрашиваю не о товарище заведующем. О нем я вовсе не хочу вас спрашивать. Довольно я в Киеве хватал авторитетные ноги. Нет, я вас спрашиваю только о вполне невинных кроликах.

— Таких тут нет, а если вы хотите Кропоткова, то они не тут, а в бухгалтерии.

Лазик заглянул в ящик стола, но там оказалась только пустая коробка от папирос. Он просидел честно до пяти часов, потом ушел домой. Он твердо решил не философствовать. На следующее утро он все же осмелился спросить заведующего:

— Извиняюсь, товарищ Петров, я хочу вас только спросить, где же они, то есть порученные мне кролики, — здесь или в губернии?

Петров проворчал:

— А шут их знает! Кажется, в том шкапу. Поройтесь в бумагах.

Весь день Лазик работал. С надлежащей осторожностью, как густопсовый терьер, рылся он в ящиках, чихая от едкой пыли. Наконец он обнаружил если не кроликов, то копию исходящей под № 2178, в которой говорилось о

печальной судьбе одной породистой четы, прибывшей из центра в благословенную Тулу. Предшественник Лазика, некто Рожков, ныне сотрудник музыкального подотдела, сообщал в Москву: «Подтверждая получение породистого груза, сообщаем, что присланные экземпляры не поступили в тульский случпункт ввиду особенностей местного климата, продовольственных затруднений, а также незнакомства местного населения с племенным кролиководством, так как в ящике оказались при проверке только мертвые разновидности, и, по свидетельству ветеринарного пункта, смерть последовала либо от морозов, либо от недостаточно азотистого питания, либо от поведения граждан на вокзале, самовольно вскрывших ящик и допустивших дезорганизованную охоту с участием беспризорных собак г. Тулы». Раза три перечел Лазик это печальное послание и, пользуясь отсутствием курьерши, пронзительно вздохнул.

— Бедная породистая чета — вот все, что осталось от вашего восторженного прыганья где-нибудь под американскими пальмами, — копия исходящей номер две тысячи сто семьдесят восемь! Но спрашивается, что же мне делать? Как я могу размножить по всей обширной губернии это жестокое воспоминание?

Не выдержав томительной пустоты письменного стола, а также Тульской губернии, Лазик дня два спустя обратился к товарищу Петрову:

— Что же мне теперь делать, если они решительно умерли и даже припечатаны этой копией?

— Как что делать? Работать, товарищ, работать! Размножать! Производить! Интенсировать! Поняли? Видите сравнительную таблицу? Мясо — раз. Меха — два. Незыскательность — три. Экономия времени — четыре. К концу отчетного года у нас будет не менее тридцати тысяч голов.

— Извиняюсь, товарищ Петров, но откуда же вырастет этот замечательный мех или даже мясо, если их, безответных прародителей, растерзали дезорганизованные собаки. Я могу размножать только одну циркулярную скорбь, но это не даст нам никакой красивой таблицы, потому что они, извиняюсь, как назло сдохли.

— Сдохли? Ха-ха! Действительно сдохли. Ну, между нами, какие же тут могут быть кролики? Я еще понимаю — свиньи. Но вы, товарищ, все-таки размножайте. Из Москвы пришлют новых, а пока что можно составить хотя бы инструкции сельхозам. Или устройте лекцию с

туманными картинами. Словом, не углубляйте. Поняли? Вот, кстати, мы получили анкету из центра. По вашей части здесь семнадцать вопросов.

Лазик остался с семнадцатью вопросами и с тяжелым недоумением. Что значит — «не углубляйте»? Рассматривать кроликов как кроликов? Допустим. Но вот его спрашивают в одиннадцатом параграфе: «Как отразилась постанова племенного кролиководства на экономическом положении крестьян? На культурной жизни? На семейных взаимоотношениях? Замечается ли в связи с ней увеличение рождаемости? Установите соотношение в круглых цифрах между количеством кроликов и потреблением мыла на каждый двор». Если кролики — это кролики, то их вообще нет. Правда, можно предположить, что кролики это только могучий символ какой-нибудь роскошной электрификации. В Талмуде много таких сумасшедших шуток. Например, сказано «овечьи сосцы», а на самом деле это священные сосуды каких-нибудь левитов. Может быть, они понимают под словом «кролики» самую обыкновенную ячейку?.. Но ведь товарищ Петров сказал ему: «Не углубляйте».

После долгих колебаний Лазик решил от аллегории воздержаться. На первый вопрос: «Сколько в Тульской губернии голов кроликов ко дню заполнения анкеты», — он стойко ответил: «Один надгробный памятник в виде разрывающей мое сердце исходящей», — и против шестнадцати остальных провел трагическую черту: ни мыла, ни рождаемости, ни семейных отношений — пустота, горе, небытие.

На всякий случай он показал лист заведующему. Тогда товарищ Петров начал бегать по длинному коридору и вопить:

— Вы с ума сошли? Вы знаете, что такое сокращение штатов?

— Еще бы! Кажется, шесть недель отсидел я, а не гражданка Пуке.

— Вы ничего не знаете! Вы хотите всех нас погубить! Как можно так отвечать на анкету! Надо углубить вопрос. Надо похвастаться достижениями. Таблицы, сметы, диаграммы. Если бы вы отослали этот бред, мы бы все попали под суд. Переправьте сейчас же все наново! У вас нет ни на грош понимания государственности. «Надгробный памятник»! Это что — остроумие?

Настали для Лазика трудовые дни. В три часа уходил товарищ Петров, в пять курьерша Дуня. Но Лазик не

знал часов: он сидел, согнувшись над столом, он высчитывал, обдумывал, распределял.

К концу пятого дня он закончил работу. Он ответил на все семнадцать вопросов. Он написал:

«Так как покойная чета была прислана в Тулу 18 ноября 1924 года, можно определить к текущему моменту кроличье население губернии в 11 726 с половиной головы. Ввиду исправных функций и отсутствия розовой водички к 1 января 1930 года в губернии намечено 260 784 головы. Вредителей, вроде сусликов или филлоксеры, не замечено. Что касается других болезней, то, кроме несчастья с первой четой и возможного, ничего не выражающего насморка, благодаря героическому мужеству губздравицы, не можем пожаловаться. Кроликов держат в плантациях под пальмами и в прочих шкапах. Рождаемость населения в связи с этим неслыханно бурлит, а мыльному производству, конечно, угнаться за нами трудно, потому что если и приходится на двор какой-нибудь жалкий кусочек, наполовину смыленный, то в круглых цифрах можно сказать, что это голый нуль рядом с роскошным оперением тысячи-другой кроликов».

Написав это, Лазик решил не волновать больше товарища Петрова, занятого Марьей Игнатьевной, и отослал бумагу в Москву. Недели две он наслаждался миром и тишиной. Курьерша Дуня зевала, стыл одиноко чай. Товарищ Петров плодотворно отсутствовал, и заведующему кролиководством не оставалось ничего другого, как рисовать на промокашке уши незабвенных прародителей. Но вот коридор наполнился бодрым кряканьем сапог: из Москвы прибыла комиссия для изучения образцовой постановки кролиководства в Тульской губернии.

— Мы прежде всего должны вас поздравить, товарищ, — в вашей губернии больше кроликов, чем во всем Союзе. Очевидно, вы нашли особо удачный корм. В Англии подобные результаты достигнуты фосфорными препаратами. Но мы им утрем нос. Чем же вы их кормите?

Лазик скромно потупил глаза.

— Исключительно служебной фантазией.

Москвичи не поняли. Они деликатно сказали:

— Ну, это мы увидим на месте. Завтра мы отправимся в сельхозы. Скажите нам, в каком уезде предпочтительно водятся кролики?

— Где они водятся? Не в уезде и не в шкапу, а здесь. — Лазик с гордостью показал на свою крохотную головку.

Тогда коридор снова заполнился кряканьем сапог, и на этот раз кряканье было зловещим. Товарищ Петров, забыв о Марье Игнатьевне, вопил:

— Вы всех подвели! В тюрьму! Под суд!

— Почему вы кричите на меня, товарищ Петров? Когда я написал, что от покойников трудно ждать пышного размножения, вы начали топтать ногами. Тогда я измучил свою хилую грудь таблицей умножения и сделал настоящее служебное чудо: я заставил этих мертвецов размножаться. Но вот вы снова топаете ногами, и я ничего не понимаю. Вы мне напоминаете, извиняюсь за неприличное сравнение, какого-нибудь римского императора, потому что был такой сумасшедший идол Адриан, и когда один еврей, увидев его, не поклонился, он крикнул: «Отрежьте ему скорее голову! Как он посмел, этот нахальный еврей, не поклониться римскому императору!» Но потом он увидел другого еврея, который тотчас же, конечно, поклонился ему, и все равно он закричал: «Еще скорее отрежьте и этому еврею голову: как он посмел, подобный нахал, кланяться мне!» Я вас спрашиваю, товарищ Петров, что же делать какому-нибудь разводителю кроликов, если он не может ни говорить правду, ни даже смешно врать?

— Вы прикидываетесь Иванушкой-дурачком, но посмотрим, что вы скажете, когда вас посадят.

— Ничего, я привык, и я там скорее всего просто молчу, или я рассказываю постыдные истории. Но я не люблю одного: когда меня берут. Тогда у меня делается ужасное сердцебиение. Я лучше сейчас же сам пойду к тюремным воротам, и я попрошу, чтобы меня пустили, скажем, за один час вперед. Так будет гораздо спокойней. Прощайте, товарищ Петров! Прощайте, тишина этих столов в отделе животноводства, чай курьерши Дуни и прискорбные тени двух погибших прародителей, которые прыгали день и ночь в моей неудачной голове вполне преданного спеца!



Лазик сидел на скамейке Тверского бульвара и думал, какое должно быть вкусное мясо у кроликов. Это нечто вроде бананов, о которых пел Левка, или вроде орхи-

дей, но нет, орхидей, кажется, не едят, их только нюхают, а Лазик хотелось прежде всего закусить. Он не настаивал на кроликах, он обрадовался бы и ломтику давно минувшей колбасы. Шутка сказать, третий день довольствовался он обнюхиванием различных столовок и пивных, из которых вылетали запахи, достойные таинственных орхидей. Денег у него не было, не было ни друзей, ни рекомендательных писем, ни верных адресов. Москва встретила Ройтшванца парадно и сухо: «Ну, памятник Пушкину, ну, десять тысяч переулков, ну, Совет самых невозможных комиссаров!.. Что же дальше?.. Нельзя ведь только нюхать, как пахнут подъезды кухмистерских».

Лазик искал лазейку. Внимательно обозревал он окрестности. Повсюду глаза его натыкались на назидательный окрик «Берегись автомобиля!».

— Именно, нашел я чего беречься! Во-первых, здесь столько же автомобилей, сколько у нас в Гомеле орхидей, во-вторых, они двигаются гораздо медленней, чем, например, старик Гершанович, когда он идет из синагоги домой ужинать, а в-третьих, если меня и раздавит автомобиль, то это, по крайней мере, американская смерть, как в настоящем двадцатом веке, что все-таки приличней, чем умереть от позапрошлого голода. Нет, дайте мне написать маленькое предупреждение, я напишу так: «Берегись моментальных глаз товарища Фени Гершанович! Берегись запахов кролика и вообще сильного аппетита!» Впрочем, кто обращает внимание на самые мудрые наставления?

Рядом с Лазиком сидел рослый детина в трусиках и в порыжевших от времени штиблетах, но без прочего. На его груди и ногах бодро курчавилась поросль. Он держал портфель под мышкой, насвистывал военный марш и перебирал ногами, как застоявшаяся лошадь. Лазик на него не глядел: мало ли в Москве людей? Голый? Пусть голый! Это ведь не Фенечка Гершанович. Зато оголенный гражданин, посвистывая, не сводил глаз с Лазика: что он ищет то на домах, то на небе, то под скамейкой?.. Заинтересовавшись, он наконец спросил Лазика:

— Потеряли что-нибудь?..

Тогда Лазик недоверчиво взглянул на волосатые плечи соседа — как будто тот же Минчик не может в два счета раздеться?..

— Потерял? Нет, мне нечего терять, кроме нашей гомельской надежды, но ее я еще не потерял. Можно, ко-

нечно, потерять жену, или деньги, или даже собственное имя. Это совершенные пустяки. Сегодня человек теряет зубы, а завтра американский дантист вставляет ему новые. Но нельзя потерять надежду. Это все равно что взять и умереть за двадцать лет до своей собственной смерти. На что мне надеяться, если у меня нет протекции и если вся Москва пахнет так вкусно, как одно рагу из несуществующих кроликов? Но я все-таки надеюсь. Может, кто-нибудь сейчас пройдет по бульвару и уронит хорошенькую связь. Тогда я стану заведующим московскими плантациями ананасов или даже питомников для скрещивания сознательных граждан с угнетенными обезьянами.

— Здорово! Вы, значит, товарищ, тоже литературой занимаетесь? Давайте знакомиться: Архип Стойкий. Читали в «Комсомольской правде» отрывок из романа «Мыловаренный Гуд»? Вот это эпос! Производство и без слюняйства. А вы где же печатались?..

Лазик задумался. Чем он вправду не писатель? Если нужно снять рубашку, он снимет. Главное — фантазия, а ведь Пфейфер не раз говорил ему: «Вы, Ройтшванец, врете, как будто вы не живой человек, но целая газета». Конечно, Лазик в душе писатель! Вот зачем он приехал в Москву.

До этой минуты, говоря откровенно, Лазик мало думал о литературе. Он только знал, что Пушкин ревновал свою жену, совсем как подрядчик Шайкевич, и что у Льва Толстого была замечательная борода, как у Карла Маркса, но у Маркса лопатой, а вот у Толстого совком. Но теперь он понял, что он, Лазик Ройтшванец, вовсе не «мужеский портной» и даже не спец, а грохочущий писатель. Фамильярно подмигнул он ревнивому Пушкину.

— Печатался? Где угодно, и у меня было, кажется, штук сорок хорошеньких псевдонимов. Меня, например, в Гомеле считали почти что Пушкиным, конечно, без инстинкта собственности, как у фабриканта. Вы слышали, наверное, о нашем гомельском барде Шурке Бездомном? Он пишет стихи исключительно о ненормальных комбригах. Так вот я и ему давал советы: «Вставь-ка еще одну улыбку на чело, дорогой Шурка Бездомный». И он всегда вставлял.

— Устарело, товарищ. И Пушкин, и Шурка Бездомный, все это — слюняйство. Вот я покажу вам, как теперь пишут у нас, в Москве.

Архип Стойкий вытащил из портфеля несколько листов и, дрыгнув голой ногой, прогромыхал:

— Отрывок девяносто восьмой. «Мыло гудело, как железные пчелы. Бодро потрянул головой Сенька Пувак: «Так-то, братва, отстояли». Рядом с ним улыбалась Дуня. С гордостью взирала она на приводные ремни, и красная звезда колыбалась на ее груди, полной здорового энтузиазма. Мыло кипело. «Обслужим весь Союз», — сказал Сенька. Он смотрел теперь на звезду девушки: «Что же, Дуня, пойдем! Наша дорога молодого класса к солнцу. Забудем о грязных забавах тех, что владели когда-то этим заводом. Дай я тебя прижму к себе трудовой рукой!» И, отдаваясь биению новой жизни, Дуня, чуть заалев, прошептала: «Ты видишь, мы обогнали довоенную норму. Гуди, мыло, гуди! Если у нас будет сын, мы назовем его просто: «Мыловаренный Гуд».

Архип Стойкий горделиво оглядел Тверской бульвар. На поросли сверкали теперь крупные капли пота.

— Здорово? Вот и вы так валяйте! Можно, например, о шелковичных червях. Главное — гнуть линию. Кто в журналах? Буржуазные дегенераты. Мы их в дверь, а они в окно. За этим надо глядеть в оба! У меня вот только шестнадцать отрывков напечатано. А их всего двести четырнадцать. С этим пора кончать. Я вам советую, товарищ, сразу войти в нашу группу «Бди». Мы бдим, чтобы в издательстве не пролезли всякие трупы. Если вы войдете в нашу группу, вас будут повсюду печатать. Идет?

Лазик охотно согласился.

— После мертвых кроликов я уже ничего не боюсь. «Бди» так «Бди». Только скажите мне, что я должен немедленно делать? Снять рубашку, конечно, дело двух минут, но у меня нет, например, роскошного портфеля.

— Пустяки! Это необязательно. Я, правда, стою за загар. Это — здоровье, и это отделяет нас даже с виду от разных бледных выродков из промежуточных групп. Я загораю. Я ем черный хлеб и пью артезианскую воду. Я прост, суров, непримирим. Я настоящий «бдист», и вы теперь тоже «бдист».

При напоминании даже о столь неизысканном кушанье, как черный хлеб, Лазик меланхолично вздохнул.

— Конечно, вкуснее, когда на этом суровом хлебе — ломтик промежуточной колбасы. Но если «бдист» должен есть только хлеб, я в текущий момент не возражаю, я только прошу вас об одном: скажите, где мне его момен-

тально найти, этот непримиримый хлеб, потому что я на свежем воздухе чуть-чуть проголодался.

Архип Стойкий бодро подмигнул Лазик и повел его в укромную пивную. Вскоре на столе появились битки с луком и четыре бутылки пива. Выпив стакан, Лазик сразу охмелел и начал восторженно пищать:

— Если это — суровая вода и артезианский хлеб, то спрашивается, кто же я и кто же вы? Я думаю, что тогда вы Лев Толстой, а я сам Пушкин, хотя у меня нет никакой жены, кроме Фенечки Гершанович, но она скорей всего жена петуха Шацмана, а у вас нет бороды, то есть борода у вас растет под мышкой. Скажите, как называется это сумасшедшее блюдо? Битки? Вы говорите, что это обыкновенные битки, а я вам скажу после трех дней сплошного Иом-Кипура, что это не битки, это кролики, а может быть, это все бананы.

Архип Стойкийпил на славу. Менялись бутылки, чадили битки, бодро звенели стаканы.

— Мы их отовсюду выкурим!.. Да здравствует бдизм!

С трудом ворочая языком, отяжелевший Лазик лопотал:

— Конечно, пусть здравствует, раз на столе такой пышный кролик. Вы говорите, что трупы лезут? Какие это, однако, нахальные трупы! Труп должен лежать под какой-нибудь трогательной надписью. А лезть в окно — это для трупа прямо-таки неприлично. Это же не мыло, чтобы вечно гудеть. Я вот только хочу вам предложить одно. У меня с колыбели слабые глаза. Я однажды схватил по ошибке совсем не ту ногу. Я могу спутать, как говорят в Гомеле, заграничного слона с Мошкой-папиросником. А вы человек вполне занятой. Вы загораете, и вы пьете эту артезианскую воду, не говоря уже о Дуне, которая, наверное, все время гудит. Словом, своими средствами мы не обойдемся. Так вот, я предлагаю вам включить в нашу группу одну гомельскую особу. У нее, правда, постыдная фамилия, но мы ей подарим неприступный псевдоним. Она, наверное, может быть поэтессой. Стоит ей только взглянуть на вашу свободную грудь, как она разразится сплошными стихами.

Беседуя на литературные темы, друзья и не заметили, как прошло время.

— С вас восемь рублей двадцать копеек.

— Ну, ну, я не спорю... Так и быть, сегодня платите вы. А в следующий раз уж я выставлю батарею.

— Я тоже не спорю. Зачем спорить? Я ведь, кажется, не труп. Но у меня в кармане только портрет португальского бича и, может быть, еще одна дырка. Я же вам сказал, что я три дня постился, и, кажется, ясно, что это не опиум, а только железный материализм.

Архип Стойкий встал, икнул и философически заметил:

— Черт побери — нет даже карманов, чтобы хоть для виду пошарить! Эй вы, гражданин! Анекдот, но факт: забыл дома пиджак с бумажником. Ничего не поделаешь — физкультура. Ну, пока...

Шатаясь, он вышел на улицу. Хозяин пивной попробовал было потрясти за шиворот оставшегося Лазика, но убедившись, что ничего из него, кроме какого-то портрета, не вытряхнешь, удовлетворился тумаком...

Лазик очутился на бульваре с чуть припухшим глазом. Но он не унывал: позади был роскошный ужин, а впереди слава Пушкина. Вы еще увидите, что ему поставят в парке Паскевича хорошенький памятник! Он будет стоять в бронзовых штанах и пренебрежительно улыбаться. Вот тогда-то придет к этому памятнику Феня Гершанович и заплачет: «Почему я полюбила петуха Шацмана без памятника, а не этого прославленного на всю Америку героя?» И хоть у Лазика будут бронзовые штаны, он не выдержит, он сбежит с подставкой, он скажет: «Я люблю вас даже после смерти, и, если вы хотите, мы можем сейчас же жениться на все три трети». Мечтая так, Лазик уснул.



На следующий вечер Лазик отправился в «Литературный клуб». Он важно расписался при входе «Ройтшванец-Бдист». Кто-то спросил его:

— Вы, товарищ, поэт или критик?

Лазик, не смущаясь, ответил:

— Беспощадный критик из контрольной комиссии. А что это у вас сегодня за гуд? Танцы меньшинств или лекция о половом вопросе?

Узнав, что он попал на литературный диспут «Нужно ли печатать и кого?», Лазик обрадовался. Вот тут-то он покажет себя!

Докладчик был «бдист». Долго говорил он о том, что «красные ризы должны быть белыми». «Попутчики» — надстройка над базой. Пока читатель был зелен, ему еще могли преподносить подозрительные книги, но теперь он созрел, он требует, чтобы его мозги ограждали от гнилой продукции. Можно ли после таких мировых шедевров, как «Мыловаренный Гуд», печатать старческое шамканье разных дегенератов, да еще в двадцати тысячах экземплярах? Долой политику страуса и да здравствует писательский молодец!

Лазик неистово аплодировал. Он хотел было сразу выступить с предложением поставить двойной памятник Архипу Стойкому и Лазику Ройтшванцу — вот как Минину и Пожарскому, но его опередил представитель какого-то издательства:

— Я только хотел обратить внимание докладчика на голые цифры. Товарищи, мы ведь состоим на хозрасчете. Читатель, к сожалению, еще не покупает произведений «бдистов». Роман «Великая Братва» разошелся всего в шести экземплярах, а повесть «Трудовой Поцелуй» в четырех. Надо попытаться примирить марксистскую линию с тяжелым экономическим положением. Мы издаем в двадцати тысячах яд какого-нибудь «попутчика», чтобы иметь возможность выпустить в роскошном издании полное собрание сочинений товарища Архипа Стойкого — это испытанное противоядие.

Архип Стойкий негодуяюще хрипел:

— Вздор! Если издавать только нас, кого же они будут покупать?.. Довольно компромиссов!

Но представитель издательства не сдавался. Он усыпил зал цифрами. Тогда-то Лазик нашел, что настало время высказаться. Нежно глядел он и на докладчика, и на Архипа Стойкого, и на заведующего издательством.

— Вы все очень симпатичные марксисты, и я сейчас маленькой диалектикой примирю вас. Архип Стойкий — это вроде Льва Толстого, и его надо сегодня же напечатать. Какие тут могут быть разговоры, если он хочет, чтобы его напечатали. Деньги здесь, кажется, ни при чем. Если вчера мелкий собственник накормил нас кроликами, не останавливаясь ни перед какими расходами, то государство, по-моему, должно моментально напечатать все отрывки из этого «Мыльного Гуда», потому что если их не напечатать, то товарищ Архип Стойкий перестанет загорать, и он станет лозящим трупом. Но остается вто-

рой вопрос — об этих неприличных «попутчиках». С одной стороны, их нельзя печатать, потому что это не вполне выдержанный дух, а с другой, их необходимо печатать, потому что без этого в издательстве одна сплошная дыра и никакой даже разменной монеты. Как же разрешить такое противоречие? Да очень просто. На что уж глупы наши гомельские евреи, которые еще верят в бога и отрицают передовую ветчину, но даже они до этого додумались. Я вам скажу, например, что еврей должен перед пасхой продать всю свою посуду и оставить дома только пасхальную. Так придумали спецы в талмудической подкомиссии. Но кому же продать всю посуду в городе? И потом, продашь горшок за десять копеек, а новый стоит весь рубль. Так вот еврей перед пасхой зовет к себе русского, скажем, носильщика или сторожа, и он говорит ему: «Я продаю тебе всю посуду за пять копеек», а тот отвечает: «Хорошо, покупаю». Конечно, оба понимают, что это нарочно, и сторожу просто дают за душевное подкрепление полтинник на водку. Вот что значит найти выход из последнего положения!

Я вижу, что вы не жили в Гомеле и еще не понимаете, как это делается, так я вам расскажу о носовых платках. В субботу еврею нельзя ничего носить, даже необходимого платочка, кроме как у себя во дворе. Но ведь насморк бывает и в субботу. Нельзя же весь день сидеть дома. А в синагоге, например, совершенно некуда высморкаться. Вы думаете, что евреи остались с двумя пальцами? Ничего подобного. Они подумали, и они придумали. Если протянуть проволоку вокруг всего Гомеля, то можно считать весь Гомель за один двор, и тогда можно ходить по всему Гомелю хоть с дюжиной платков. Они сложились и купили проволоку и в десять минут обкрутили весь Гомель. Я говорю вам: главное — заранее условиться. Может быть, эти «попутчики» и то и се, платочки и посуда и черт знает что. Но мы их продадим сторожу, и мы обнесем их проволокой. Мы скажем, что они у нас во дворе, и тогда можно будет их печатать с каким-нибудь оглушительным предисловием. Он там пишет, что у Шурочки большая любовь, а мы в предисловии продадим его, как сто горшков: «Шурочка не Шурочка, а любовь не любовь, но одни классовые скакания». Книжка пойдет хоть в двадцати тысячах, и в кассе будут деньги, и Архипу Стойкому выдадут за его «Мыльное Гудение», может быть, груды червонцев.

Архип Стойкий недоверчиво поморщился.

— Вы «бдист» или не «бдист»? Юлите! И нашим и вашим. С кем вы только успели снюхаться?..

Лазик, однако, быстро его успокоил:

— Это чтобы заткнуть рот тому в очках и чтобы вам выдали наконец немножко червонцев, потому что номер с пивной, кажется, больше не пройдет, а я уже успел снова проголодаться.

Хоть на Архипе Стойком и была блуза с карманами, но денег в карманах не было. Лазику пришлось отдаться сладким воспоминаниям: как они дивно пахли, кроличьи бананы! Вдруг к нему подошел какой-то упитанный гражданин весьма пристойного вида. Виновато улыбаясь, он сказал Лазику:

— Извиняюсь, можно вас на два слова? Вы говорили прямо как Троцкий. Одна блестящая мысль за другой. Я думаю, что мы с вами пойдем друг друга. Я, видите ли, ищу снисходительного марксиста.

Лазик умилился:

— Я вас понимаю. Я в Гомеле тоже искал снисходительную девушку. Но Феня Гершанович оказалась неприступной, как два американских замка. Правда, потом она стала снисходительной, но не ко мне, а к Шацману, и, конечно, тогда она перестала быть девушкой. Это называется гомельское счастье! Но скажите мне, зачем вам понадобился снисходительный марксист. Уж не вздумали ли вы исправлять самого Карла Маркса?

— Тс-с! Что вы говорите? И в таком месте!.. У меня очень деликатное дело. Может быть, мы выйдем вместе? Разрешите представиться — Рюрик Абрамович Солитер.

Ноздри Лазика раздувались, во рту было мокро, кружилась голова. Он решил действовать напролом.

— Вы знаете, Рюрик Абрамович, с кем вы говорите? Я же великий писатель. Я завтра, может быть, буду стоять в бронзовых штанах. Я беспощадный критик. У меня внутри тысяча анкет. Но мы с вами выйдем вместе. Мы не только выйдем вместе, мы еще войдем вместе в какой-нибудь рай. Сразу видно, что у вас в карманах не только дырки, и вы угостите меня этими кроликами, то есть хошешенькими битками в сметане.

Рюрик Абрамович ласково обнял Лазика за шею.

— Конечно, конечно. Мы пойдем с вами в ресторан «Венеция». Там рябчики и пиво — что надо.

Прикончив вторую птицу, Лазик сказал:

— Мерси. После этих кроликов я стал таким снисходительным, что я могу сейчас заплакать. Но если вы хотите, чтоб я исправил Карла Маркса, на это я ни за что не пойду. Я люблю бриться через день, а не сидеть на исправляющих занозах.

— Да что вы, что вы!.. Разве я разбойник? Я ведь только несчастный еврей из Крыжополя. Хотите еще птичку? Соуску? Здесь дело литературное. Мы же почти земляки, и вы меня поймете. Мне нужно продать дворнику посуду. Вы из Гомеля, а я из Крыжополя. Это две кочерги. Но вы себе марксист, а я нетрудовой элемент, полный слез и несчастья. Чем я только не торговал. Я могу даже сказать об этом стихами, как ваш Пушкин: сахарин, и аспирин, и английский фунт, и изюм, и черт знает что. Меня восемь раз выслали: и минус шесть, и Нарым, и Соловки, и еще куда-нибудь, как будто я им Нансен, чтобы открывать Ледовитый полюс. Я все вытерпел. Но теперь — никаких дел. Можно сойти с ума от их понижения цен! Я потерял сто червонцев на одном коверкоте. Я не знал, что бы мне еще придумать. Я стоял на Петровке, как у иерусалимской Стены плача. Если из меня не текли слезы, то только от воспитания. Вдруг выскакивает Фукс и говорит мне: «Издавай! Я издаю, и ничего — дает». Я, конечно, схватил его за шиворот: «Может быть, ты съел тухлую рыбу? Что я, государственный комитет, чтобы издавать?» А он смеется: «Ты же не будешь издавать какую-нибудь пропаганду. Нет, ты будешь издавать романы с парижскими штучками, и ты заработаешь сто на сто». Что же, он оказался не таким дураком, этот Фукс! Я уже все придумал. У меня есть название: издательство «Красный Диван». У меня даже есть рукопись. Это такой роман, что я не могу читать его спокойно. Я его читал уже восемь раз, и все-таки я не могу успокоиться. Глаза у меня на лоб лезут. Ну и городок, скажу я вам, Париж! Вы сами прочтете. Сначала мальчик спит с девочкой. Хорошо, это и у нас в Крыжополе бывает. А потом мальчик спит с мальчиком, а девочка с девочкой, и каждый отдельно, и все вместе, и на двухсотой странице я уж не могу ничего разобрать, потому что это даже не кровать в семейном доме, а какая-то ветряная мельница. Я не знаю, может быть, и переводчик наврал, потому что это один эстонец, настройщик роялей. Он понимал из десяти слов пять, и он даже сам сказал мне, что за сорок рублей не может понимать все слова, хватит с меня поло-

вины. Но разве в словах дело? Книга эта замечательно пойдет, верьте моему нюху. Я только боюсь взять ее и просто издать. Довольно с меня этих полярных прогулок! Я хочу, чтобы вы написали о ней настоящее марксистское предисловие. Я дам вам пятьдесят рублей. После вашей тонкой речи я знаю, что вы напишете предисловие, как последний дипломат. Идет? Вот вам авансик. Еще пивца? Кофейку?

Над предисловием Лазику пришлось прокорпеть не меньше, чем над памятной анкетой о кролиководстве. Одиннадцать раз перечел он рукопись и все же ничего не понял.

«Здесь Валентин взял трамвай, и он увидел Анжелику танцевать среди лимузинов. Тогда в нем пробудилась страсть к очертаниям, и он невольно отобрал у своего соседа теннисную ракету. Он сказал ему: «Ты ведь хочешь лежать со мной, после «Быка на крыше», среди леса в Булони или даже в ложе глухой привратницы?»

Лазик тихо стонал. Вот кто съел тухлую рыбу! Ну, пусть себе лежат на крыше или даже в глухой ложе: это их семейное дело. Но при чем тут ракета? Нет, кажется, легче размножать мертвых кроликов! Однако Ройтшванец был человеком твердой воли. Он решил дослужиться до бронзовых брюк, и он работал как вол. Через несколько дней он закончил краткое, но содержательное предисловие:

«Французский писатель Альфонс Кюроз, книгу которого мы торопимся преподнести пролетарскому читателю, не так прост, как это кажется с поверхностного виду. Под видом столкновений разных полов он на самом деле звонко бичует французскую буржуазию, которая танцует, как сумасшедшая, среди люстр и лимузинов. Валентин — типичный дегенерат, который, наверное, хочет нашу нефть и пока что эксплуатирует свою глухую привратницу. Положение угнетенного класса раскрыто автором хотя бы в таких словах этой якобы голосующей рабыни: «Господин, — промолвила она, — вытрите ноги, если это вам нравится». Сколько здесь раболепства под видом ложной свободы!

Конечно, Альфонс Кюроз шатается между двумя станами, и он не может никак стать на твердую платформу. Мы знаем с точки зрения беспощадного марксизма, что он вполне деклассированный тип и содрогается на перепутье. Но талант подсказывает ему, что скоро уж не будет

никаких очертаний, а теннис перейдет в мозолистые ладони бодрых пионеров. Когда падает в будуаре массивный таз, он символически вздрагивает и, пряча в комод грязное белье своего прошлого, невыносимо кричит: «Идет, он идет!» Наш пролетарский читатель усмехнется: да, он таки идет, новый хозяин жизни, и пора вам, мечущиеся Кюрозы, стать под великий флаг установленного образца!»

Легко понять, как дрожал Лазик, заканчивая это предисловие: он ведь хорошо помнил 87-ю статью. Но вдохновение победило страх. Рюрик Абрамович прочел предисловие вслух, он прочел его с пафосом, брызгая слюной и жестикулируя.

— Что говорить, первый сорт! Представляю себе, как бестия Фукс будет мне завидовать...

Получив деньги, Лазик возгордился. Он пошел в «Венецию», выпил графинчик водки и начал хвастаться:

— Я все могу разрезать с марксистской точки. Даже пупок. Я прямо-таки гений, и мне смешно думать, что передо мной сидят какие-то живые люди, а не одна вечная память. Что, Фенечка, ты таки прогадала? Я вскрываю научно твой сиреневый капот и говорю — это шатанье между двумя платформами. Эй вы, Бетховен, играйте мне мелодию! А вы кто такой? Официант? Не знаю. Не знаком. Вы, может быть, Максим Горький? Одним словом, помогите мне встать, потому что у меня ноги не двигаются. Они уже, наверное, стали из бронзы.

Лазика повели в уборную. Позабыв о мировой славе, он виновато застыл над раковиной. Что делать — он ведь никогда не пил столько.



Две недели спустя Ройтшванца уже знала вся литературная Москва. Он заходил как свой человек в редакции посидеть, поговорить, он требовал в издательствах авансы под различные труды, он выступал на диспутах. Все быстро привыкли к его непомерно маленькому росту и тонкому голосу, похожему на писк мышки. Правда, никто не знал толком, чем он знаменит, но на всякий случай говорили: «Надо позвать и этого Ройтшванца...» Когда Лазика спрашивали:

— Работаете?

Он гордо отвечал:

— Еще бы! Заканчиваю шестой том марксистской критики всяких очертаний.

Это вызывало благоговейный трепет одних, зависть других. Однажды Лазик сидел в «Литературном клубе», поджидая okazji: вдруг объявится какой-нибудь новый Солитер. С ним заговорил очкастый субъект, все время надрывно зевавший.

— Скучный сегодня доклад...

— А когда он не бывает скучным? Это же вам не «Венеция» с мелодиями...

Очкастый усмехнулся.

— Вы — поэт? Прозаик?

— Я? Я марксист на седьмом томе. Да, не что-нибудь возле, но стопроцентный критик. А вы кто же?

— Я — ученый секретарь Академии.

Лазика передернуло: вот это номер! Наверное, ему платят все сто рублей за предисловие и вообще громовой почет. Как должны, например, кормить такого академического фрукта! Сплошными орхидеями. Почему же Лазик не может быть секретарем Академии? Это, вероятно, обыкновенный дом, если не на Лубянке, так на Петровке. А насчет учености не может быть речи. Более ученого, кажется, трудно себе представить. Мало учил его хотя бы товарищ Серебряков, уж не говоря о хедере?

На ближайшем диспуте «О современном языке» Лазик так начал свою речь:

— Я говорю не только как беспощадный критик, но как очень ученый секретарь самой главной Академии. Я знаю ваш могучий язык вдоль и поперек, и я скажу, что это только предсмертное скакание, потому что, когда волнуется классовый океан...

Кончить ему не удалось.

За одной бедой пришла другая. Рюрик Абрамович снова уехал открывать Северный полюс, и, разбирая дела издательства «Красный Диван», нескромные люди заинтересовались автором патетического предисловия. После скандала на диспуте «бдисты» поспешили отступить от Ройтшванца, и литературная карьера Лазика кончилась следующим, не вполне литературным разговором:

— Имя? Год рождения? Состоите на учете? Хорошо. Теперь объясните мне, кто вы, собственно говоря, такой?

— Я? Надстройка.

— Как?..

— Очень просто. Если вы база, то я надстройка. Я говорю с вами как закоренелый марксист.

— Знаете что, вы эти истории бросьте! Меня разыграть не так-то легко. Я вас насквозь вижу. Отвечайте без дураков, что вы за птица?

— Если птица, то филин. Как? Вы не знаете этой постыдной истории? Но ведь ее знает весь Гомель. Тогда я вам сейчас же расскажу. Два еврея разговаривают: «Что такое филин?» — «Рыба». — «Почему же она сидит на ветке?» — «Сумасшедшая». Так вот я скорей всего птица или рыба, одним словом, что-то сумасшедшее.

— Ах так!.. Прикидывается!.. Я, кстати, спец по части симуляторов. Здесь один прохвост был, продавал на черной бирже доллары. Так он, вроде вас, комедию затеял. Объявил себя собакой. На четвереньках ползал, лаял, даже заднюю лапу поднимал. Ну, я ему: «Что же, раз вы собака, то и говорить не о чем: собаке — собачья смерть!» Он мигом вскочил на обе ноги и как закричит: «Хорошо, я уже не собака, я — Осип Бейчик, и, пожалуйста, обращайтесь со мной по-человечески!» Итак, вы — рыба?

— Нет, я не рыба. Я вовсе не хочу плавать в какой-то холодной воде. Я попробовал говорить с вами возвышенно, как на самых шикарных диспутах, но если вам это не нравится, я могу говорить с вами просто. Кто я? Я — бывший мужеский портной. Все началось с брюк Пфейффера, а кончилось этими бронзовыми брюками. Меня раздавило величие истории. Я, например, три дня постился, а потом я встретил товарища Архипа Стойкого. У него росла борода не на месте, и он читал мне такие глупости, что услышь их последняя гомельская кляча, и та, наверное, сдохла бы от сухого сарказма. Тогда я подумал, если этот Архип Стойкий — великий писатель, почему же мне не влезть на готовый пьедестал? Я не виноват, если я ничего не понял в романе гражданина Кюроза. Вы тоже не поняли бы, и я даю вам честное слово, что даже китайские генералы здесь тоже ничего не поняли бы. А если я один раз и нализался в «Венеции», то это еще не государственный порок. У нас в Гомеле говорят: «Человек, конечно, вышел из земли, и он, конечно, вернется в землю. Это вполне понятно. Но между тем, как он вышел, и между тем, как он вернется, можно, кажется, опрокинуть одну рюмочку». Я не помню, что я говорил там, в этой журчащей «Венеции», потому что меня там просто-

напросто тошнило. Теперь я развенчан, как несуществующий бог. Что делать, я не возражаю. Вы не хотите, чтоб я был новым Пушкиным, я не буду. Я снимаю с себя эти бронзовые штаны, и я прощаюсь с вкусными орхидеями. Я обещаю вам быть тише, чем стриженная под бобрлик трава. Только не отсылайте меня к Рюрику Абрамовичу! У меня нет никакой шубы, а он теперь, наверное, не заказывает больше предисловия. Не пытайте злосчастного Ройтшванца! Нет, лучше отпустите его на все пятнадцать сторон!..



К осени Лазик устроился. Он снова ел битки. Правда, в его новой службе не было ничего возвышающего душу, но, наученный горьким опытом, он больше не мечтал о мировой славе. Некто Борис Самойлович Хейфец получал из Минска контрабандное сукно. В обязанности Лазика входило разносить материал частным портным. За это он получал шесть червонцев в месяц. Конечно, в Москве было теплей, чем на Северном полюсе, но Лазик все время дрожал. Он нес сукно, как бедная мать подкидыша, прижимая его к груди и пугливо озираясь на щебечущих воробьев. Он даже завидовал Рюрику Абрамовичу — тот уже на месте, привык, может быть, оброс толстой кожей, как ледовитый медведь, а ему, Лазику, только предстоит эта лихорадочная экскурсия.

Единственным утешением Лазика были две соседки. Он встречал их иногда в коридоре или на лестнице, останавливался, благоговейно вздыхал и терял отрез сукна. Время взяло свое — он в душе изменял Фене Гершанович. Как-никак Фенечка была яблоком отстального продукта, а соседки Лазика работали в «Льняном тресте», ходили в театры со стрельбой и выражались научно; так, например, одна из них, столкнувшись в дверях с Лазиком, сказала: «Такие арапы зря занимают жилищную площадь...» Лазик влюбился сразу в обеих, и это его несколько смущало. Он знал, что одну, пышную и розовую, зовут «товарищем Нюсей», а другую, остроносую брюнетку, — «товарищем Лилей». В кого же он влюблен, в Лилю или в Нюсю? Впрочем, этот вопрос занимал его абстрактно,

так как он скорее согласился бы отправиться в гости к ледовитому Рюрику Абрамовичу, нежели заговорить с одной из прекрасных соседок.

Однажды вечером, вернувшись домой после трудового дня (Хейфец получил большую партию коверкота), Лазик увидал в дверях своей комнаты товарища Нюсю. Он тихо пискнул от восторга. Нюся первая заговорила:

— Почему вы все время на меня смотрите и не здороваетесь?

Лазик молчал.

— Вы что же — немой?

Тогда героическим усилием воли Лазик заставил себя заговорить:

— Нет, я не немой. Немая это Пуке. А я — Ройтшванец. Но как я могу с вами говорить? О, если б я вас встретил раньше, когда я был кандидатом в Пушкины или хотя бы просто кандидатом! А что я теперь? Отпетый курьер вполне частного предприятия, то есть Бориса Самойловича. Вы же — бронзовое божество.

Нюся рассмеялась.

— Я не божество, а делопроизводительница, но комната у вас хорошая. Вы один ведь живете? Как только вам раздобыть удалось?

— Это — Борис Самойлович. У него удивительные связи. Но почему вы говорите о глупой комнате, когда вы даже не передовой отряд, а бронзовое очертание?

— Что вы к бронзе привязались? Я не из бронзы. Я, кажется...

Нюся не договорила, вместо слов она только повиляла своими не бронзовыми формами. Лазик зажмурился. Он еле-еле пролепетал:

— Какой сверхъестественный фейерверк!..

Нюся подошла к окну; тщательно осмотрела она скромную обстановку. Лазик не сводил с нее глаз: мираж, дивное видение!

Надо сознаться, что Лазик отличался чрезмерной восторженностью. Хоть Нюся и была женщиной дородной, красотой она никак не отличалась: нос картошкой, вместо бровей — белый пух, короткая толстая шея. Единственное, чем могла она похвастаться, — это изобилие материала; рядом с Лазиком казалась она в ширину бушующим океаном, а в высоту небоскребом.

Молчание длилось довольно долго. Наконец Нюся сказала:

— Вы все еще на меня глаза пялите? Нравлюсь?

— О!.. О!..

Лазик не находил слов. Он размахивал ручками и прерывисто дышал.

— Нравитесь? Какое постыдное слово! Почему я не Пушкин? Почему я хотя бы не Шурка Бездомный? Я смеюсь, когда думаю сейчас о моих недавних сомнениях. Вы слышите, как я ужасно смеюсь?

Нюся только пожала плечами: Лазик ведь не смеялся.

— Вы не слышите?

Он громко крикнул: «Ха-ха!»

— Теперь вы слышите? Я смеюсь, потому что я сомневался в связи с этим товарищем Лилей. У нее же ничего нет, кроме носа. Она недостойна даже спать с вами в одной комнате. Когда я гляжу на вас со всех четырех сторон, в мои глаза летит электричество. Вы стоите сейчас над миром, как бронзовая...

— Тьфу! Снова бронза? Да вы попробуйте — я не холодная.

В голове Лазика пронеслось: Феня Гершанович, Шацман, корова, пигмей... Здесь надо быть действительно храбрым! Я же бодрый класс! Но как поцеловать ее, если она стоит? Влезть на табуретку! Смелей!.. В который раз Лазик пришипил себя любимым назиданием: «Лезь, Лазик, лезь!» Он вскочил на табуретку. Сразу стал он высоким и дерзким. Тонкими ручками обнял он массивную шею. Он поцеловал Нюсю прямо в губы, как целовал этот нахальный Валентин свою парижскую Анжелику. Но здесь-то и произошло непредвиденное: у него закружилась голова, и под хохот Нюси он упал на пол.

Встать? Но ведь она смеется... Он не виноват. Он смело пошел в бой, и если он контужен, то это бывает с самыми безошибочными героями. Но она этого не понимает. Значит, лучше не вставать. Лучше лежать на полу, как будто он уже умер от нахлынувшего счастья.

— Хи-хи!.. Что ж вы не встаете? Расшиблись?

— Нет, я не расшибся, но я, может быть, окончательно умер от таких обжигающих чувств. Может быть, перед вами лежит только холодный труп тореадора или даже Евгения Онегина.

Всласть насмеявшись, Нюся заставила Лазика встать. Преспокойно она сказала:

— Лилька и мне надоела. Лезет со своим носом куда не следует. Нельзя никого к себе позвать — сейчас же

отобьет. А вы хоть ростом не вышли, но в общем ничего, сойдет. Словом, хотите поженимся? Завтра с утра пойдем в загс, а после службы я перетащу мои пожитки. Будем жить вместе.

Вместо ответа Лазик упал на колени. Несвязно восклицал он:

— Вы слаще бананов! Вы бурлите, как сто Днепров! Когда я получу от Бориса Самойловича шесть червонцев, я куплю вам теннисную ракету. Я люблю вас, как ископаемый бог!

Нюся потрепала его по головке и, сказав: «Значит, до завтра», — как благоразумная невеста былых времен, ушла к себе спать. Не до сна было Лазикю. Забыв о строжайших постановлениях жилтоварищества, как тигр, метался он по комнате от страха, от страсти, от счастья. Он разговаривал сам с собой: «Лазик, ты понимаешь, что случилось? Ты жил тридцать два года, как последний крот. Кто тебя вздумал бы поцеловать, кроме тети Хаси? А теперь ты стал счастливым любовником. Тебя можно показывать во всех театрах. Завтра ты войдешь в рай. Чем такая комната хуже ложи глухой привратницы? О тебе будут писать парижские романы. Рычи, Лазик, смейся, танцуй! Ты уже не рассыльный Бориса Самойловича, ты бык на последней крыше».

Утром Лазик презрительно отпихнул ногой пакет с коверкотом. Он заявил Борису Самойловичу:

— Сегодня я вообще не работаю. Я открыл себе вышший план. Может быть, завтра я отнесу весь материал Сухачевскому, на эту дикую Шаоловку. Но сегодня я даже не хочу с вами разговаривать, потому что вы живете на земле с вашим собачьим коверкотом, а я порхаю среди сплошных очертаний.

— Что с вами? Вы с утра накалились? Или у вас грипп с осложнением?

— У меня любовь с осложнением. Завтра я к вам приду, но сегодня я женюсь, и не на обыкновенной женщине, а на приснившемся очертании.

В отделе записей Лазик держался с достоинством. Вот только никак не удавалось ему взять Нюсю под руку, как он ни старался. Встать на стул в учреждении он счел неудобным, а Нюся ни за что не хотела присесть на корточках.

Я не стану рассказывать о том, как Лазик на тридцать третьем году своей жизни стал торжествующим любов-

ником. Уже светало, когда он разбудил Нюсю, заговорив от полноты чувств:

— Ты знаешь, мы играли в Гомеле трагедию товарища Луначарского. Тогда я ничего не понимал. Я был слеп, как бронзовая крыса. Мне нужно было кусать герцогиню, но я только несознательно хрипел. Теперь я понимаю, что это за замечательная трагедия! Если бы я был настоящим классовым герцогом, я бы стал сейчас же кусать тебя от предпоследней вспышки. Но я не герцог, и я только хочу еще раз поцеловать эту не бронзу.

Нюся огрызнулась:

— Пошел к черту! Я спать хочу!

Утром Нюся встала, зевая, оделась, выпила чаю, а потом сказала Лазику:

— Ну, теперь идем в загс.

— Мы же вчера там были...

— Вчера! Вчера поженились, а сегодня разводиться пойдем.

Лазик присел на табуретку — здесь познал он первое счастье — и тихо заплакал.

— Нюся! Очертание! Почему же ты хочешь растаять? Я ничего не понимаю... Ведь мы не обязаны разводиться. Мы даже можем жить вместе до замогильных досок. У позапрошлых евреев есть такое правило, что если молодые не спали вместе, они должны утром развестись. Это, конечно, насилье над свободной совестью, но это еще понятно. Зачем же люди женятся? Но разве есть такой закон, что если молодые спали вместе, то они обязаны утром развестись?..

— Надоел ты мне, пискун! Ну, спали! Кажется, встали. Хватит! Не буду же я с таким клопом каждую ночь возиться! У нас свобода теперь. Выбирай кого хочешь. А не пойдешь в загс, я и одна забегу — мне по дороге. Вот давай-ка лучше с тобой о комнате поговорим. Пополам ее не разделишь. А назад к Лильке я не могу. Я с ней из-за тебя поссорилась. И потом, она сказала, что сегодня тоже в загс пойдет с Гариним. Жить будут у нее. Ну, а ты мужчина, тебе легче устроиться. Значит, комната за мной. А свое добро забирай, только сразу, чтобы не валандаться. Я этого не люблю. И в гости не вздумай ходить. Я в загсе четырнадцать раз была. Если все бывшие мужья начнут ко мне шляться — места не хватит.

Лазик тихонько высморкался.

— Я знаю, что я несчастен. Тетя Хся говорила, что я

ударился головой о горшок. Когда у меня кончается мираж, ты говоришь о какой-то смешной жилплощади. Будь у меня Академия, я отдал бы тебе всю Академию. Прости, что я разбудил тебя ночью с моими театральными аплодисментами. Я сейчас иду бродить по миру, как подобает проклятому Ройтшванцу. На земле есть квадратные метры, и загс; и даже что-то не из бронзы. Но на земле нет счастья. Это только отсталое слово могучего языка.

Увидев Лазика, Борис Самойлович рассмеялся:

— Женились? Поздравляю!

— Дайте мне коверкот для Сухачевского и не трогайте моих наболевших мест. Я не только женился, я уже и развелся. Зачем вы мне дали эту жестокую жилплощадь? Лучше бы я спал на скамье бульвара! Я сейчас могу всех перекусать, как бешеный кролик. Я отрицаю ваш организованный мир! Вы хотите только червонцы. Она хотела квадратные метры. Я хотел что-то другое, о чем я с вами вовсе не буду говорить. Но я спрошу вас — кто же ничего не хочет? Кто хочет только гробовой любви и капельки веселых слез от чужого счастья?..



Лазик поселился у Хейфеца на кухне вместе со старой служанкой Дашей. Даша числилась тетушкой Бориса Самойловича, а Лазик его племянником. Ночами Лазик оплакивал свое короткое счастье. Днем же по-прежнему он разносил товар, получал деньги или чинил брюки Бориса Самойловича. Вы, пожалуй, спросите, почему Борис Самойлович не мог сделать себе новые из лучшего английского шевиота? Как будто брюки — это булавочная головка! Впрочем, Лазик хорошо знал, что такое брюки...

Жил Борис Самойлович сосредоточенно, как человек, преданный высокой идее. Он любил, например, индюшек или кашлунов, но в квартире находился гражданин Тыченко, и Тыченко мог учуять подозрительный дух. Борис Самойлович ел суповую говядину. Он ходил в заплатах Лазиком штанах.

— Ты, Ройтшванец, хоть одну ночь был женат, а я вот уже второй год как обхожусь скомканными воспомина-

ниями. Сюда привести нельзя — Тыченко узнает: «Кто, почему, что это за роскошная жизнь?..» А пойти тоже опасно: вдруг попадешь на облаву. Марьянчик рассказывал, что в Никольском три голых дачанки изображают подводный телеграф, и всего червонец за телеграмму. Это же даром! У меня даже сердцебиение сделалось. Из дому вышел. Вернулся. Схватят — и крышка.

Как-то ночью Борис Самойлович привел Лазика к себе, закрыл дверь на ключ, посмотрел, не шляется ли по коридору Тыченко, и наконец вынул из-под грязного белья небольшую картину в пышной раме. Лазик увидел охотничью собаку, которая бесцеремонно разрывала юбку крестьянки. Борис Самойлович благоговейно зашептал:

— Видишь? Это мне Сапелов продал за десять червонцев. У Сапелова не только оружейный музей был, но и конский завод. Он прямо сказал мне: «Риск, что отберут, большой. Но если продержите это до конца — богатство. Иностранцы дадут не меньше ста тысяч, потому что это великая кисть. Это или Репин, или Рафаэль, или оба вместе. Вот и рискнул. Я даже не о деньгах думаю. Я гляжу тихонько по ночам и наслаждаюсь. Какое выражение юбки! Это — кисть! Ты хоть, Ройтшванец, ничего на свете не признаешь, но я тебе скажу, что есть, брат мой, замечательная красота.

Дни шли, полные опасностей. Лазик обходил портных. Иногда при виде ножниц и утюга просыпались в нем угрызения совести: «Зачем я променял это на какие-то скитания?.. Но что же мне было делать? Не я отобрал у себя вывеску и счастье. Поздно жаловаться! Теперь я мчусь, как бедный листик, гонимый столетним ураганом».

Червонцы Борис Самойлович выменивал на английские фунты и порой пересчитывал их; тогда Лазик должен был сидеть в уборной и отчаянно шуршать бумагой, чтобы сбить с толку Тыченко.

Пересчитав деньги, Борис Самойлович меланхолично вздыхал. Он шел в кухню на цыпочках и говорил прислуге:

— Тетя Даша, может быть, вы поставите мне простой пролетарский самовар?

— Ни девочек, ни пообедать в «Московской», ни послушать оперетку, — жаловался он Лазику. — Я же мученик! Я святой! После смерти я, наверное, не буду вянуть,

нет, тогда я начну благоухать. Но пока что чем мне утешиться?

— Вы можете думать, например, что вы уже после смерти, и тогда вы можете благоухать вовсю, если для вас это утешение.

Но не так-то легко было Борису Самойловичу утешиться. Он шептал:

— Ты понимаешь, болван, что весь их коммунизм это только пломбированная чепуха?

Лазик отвечал уклончиво:

— У нас в Гомеле говорят: одной селедки хватит и на десять человек, а большую курицу слопают двое. Это полная правда. Вы, конечно, любите кушать курицу, и я тоже люблю, и это все любят. Селедка во рту — другой разговор. А все вместе — это вовсе не ваш одинокий гнев, когда вы шуршите бумажками, но точная арифметика. Я это понимаю без всякой политграмоты, и мы с вами два ожесточенных класса. Всякий увидит, что вы — это мягкий вагон, а я — чересчур жесткий. Пока что нас везет один рассеянный паровоз. Но что будет завтра, я не знаю...

Как-то вечером, возвращаясь домой, Лазик увидел Бориса Самойловича, обмотанного башлыком; который почему-то прихрамывал.

— Где это вы упали, Борис Самойлович? Может быть, на шоссе Энтузиастов? Там таки скользко...

— Тише! Я уже не Борис Самойлович, я Оскар Захарьевич и хромаю с самого детства. Во-первых, держи этот сверточек. Только осторожней — здесь все мое будущее. А во-вторых, они сцапали Тыченко, и оказалось, что Тыченко вовсе не в партии, он работал вместе с Марьянчиком. Значит, это идет через Минск, и сегодня схватят меня. Если б еще в Нарым, я подумал бы. Но здесь пахнет процессом. Ройтшванец, я решил удрать в Лодзь. Там у меня племянник. Не как ты — настоящий. Бог даст, проживу. Только бы провезти этот сверточек. Теперь спрашивается, что тебе делать?

— Мне? Ничего. Я привык. Самое большее, что я могу сделать при данной ситуации, это пойти в парикмахерскую.

— Ты дурак, Ройтшванец! Ведь если я убегу, схватят тебя. Пойди, доказывай им, что ты не племянник. Потом, кого видали с материалом? Тебя. Хочешь десять лет получить? Хочешь? Идиот! А что если тебя расстреляют?

— Зачем же я стану заглядывать вперед, в мое кровавое будущее? Лучше я пойду и переменю на всякий случай белье.

— Постой!.. Знаешь что, я возьму тебя с собой. Ты перевезешь этот сверточек. А остальное устроится. Нас переправит Файгельсон из Минска. Ты еще сомневаешься? Но ты, мало сказать, идиот, ты дерево. Я тебя устрою в Лодзи.

— Я не понимаю, зачем мне бежать? Вы, конечно, спасаете вашего Рафаэля и беленькие бумажки. А что мне спасать? Если себя, то ради этого не стоит ехать в Лодзь, я спокойно могу умереть на Дорогомиловском кладбище. Если не себя, то кого? Мою бывшую супругу, или Тыченко, или, может быть, ваш неприступный сверток? Хорошо, у вас там племянник, но у меня там нет племянника, а вам я верю, как позапрошлому снегу. У меня была тетька в Глухове, но ее уже нет. Зачем же мне бежать или хотя бы ускорять походку? И вот я все-таки соглашаюсь, и я бегу с вами впопыхах в вашу проклятую Лодзь. Я уже больше не стоячий гражданин, но одно скаканье и неизвестность. Я сам не могу остановиться. Бежим, Оскар, или Борис, или Репин с кистью, бежим! Мы — листики, а кругом ураганы. Но стойте — я плачу заядлыми слезами. Я прощаюсь с моей провалившейся молодостью. Я прощаюсь с Гомелем и с наперстком. Я прощаюсь с этим Иваном Великим и с табуреткой моей бывшей супруги. Я стою, как вкопанный, я рыдаю, и я все-таки ничего не могу поделать с подобным землетрясением — я бегу, и бегу, и бегу...



осмотрим с тобой правде в глаза, Ройтшванец. Ты большой философ, и ты не дорожишь жизнью. Ты даже хотел немедленно умереть на Дорогомиловском кладбище. У тебя нет никого на свете. А у меня вот племянник в Лодзи. Я так не хочу умирать, что, когда я вижу на улице чужие похороны, у меня начинает колоть в животе. Значит, сверточек должен взять именно ты. Если тебя схватят, что же, ты умрешь какой-нибудь интересной смертью. Но если ты провезешь этот сверток, я тебя озо-

лочу. А ты его наверное провезешь. Ты же такой маленький, что тебя вообще никто не заметит. Потом, ты, как никак, мой служащий, и ты обязан носить мои свертки.

— Я не говорю «нет», но я могу петь над собой похоронный марш, потому что мне тоже хочется еще пожить, хотя бы один год, и у меня колет в животе, как будто я уже вижу свои собственные похороны.

Беглецы благополучно миновали пограничные посты. Завидев издали шапку польского жандарма, Борис Самойлович подозвал Лазика:

— Ну, теперь давай-ка сюда этот сверточек.

Лазик расстегнул брюки и вытащил заветный пакет. Отдавая его, он только спросил:

— А когда вы начнете меня золотить?..

Но Борис Самойлович ничего не ответил. Конфиденциально улыбаясь, протянул он жандарму одну из шуршащих бумажек.

— То, пане, лепший паспорт.

Жандарм решил поторговаться: мало; это с одного, а не с двоих. Тогда Борис Самойлович, недоуменно пожимая плечами, сказал:

— То не есть мой человек. Я его совсем не знаю, то есть, наверное, большевик. По морде видно, что то есть пся крив.

Лазика арестовали. Он не спорил, не защищался. Он только тихо сказал Борису Самойловичу:

— Я же говорил еще в Москве, что я вам верю, как позапрошлогоднему снегу. Вы можете кланяться от меня вашему дорогому племяннику, а потом золотить себя со всех сторон. Тогда вы станете таким красавчиком, что все польки устроят один беспроволочный телеграф. А Ройтшванец будет сидеть на заграничных занозах и думать, что нет на свете даже воровской справедливости.

Перед тем как приступить к допросу арестованного, ротмистр решил малость подкрепиться: он съел кусок копченой полендвицы и опорожнил графинчик «чистой». Хоть его ноги отяжелели, голова стала зато легкой, и, невинно гогоча от детского веселья, он приветствовал Лазика:

— Здравствуй, лайдак! Ты что же, червонный шпег?

— Я? Нет, я скорей всего горемыка Ройтшванец.

— Не прикидывайся глупцом. Какие планы ты хотел выкрасть, например, варшавские или виленские? Или, может быть, ты хотел замордовать самого дедушку Пилсудского?

— Он мне вовсе не дедушка, и я никого не хотел замордовать. Я даже не хотел замордовать этого Бориса Самойловича, хоть он обещал меня тоже озолотить, а потом убежал вприпрыжку. Планы мне тоже не нужны, я не рисовальщик, и у меня нет кисти Репина. Одну ночь я, правда, провел в высшем плане с моей бывшей супругой, но это кончилось простой жилплощадью.

— Это же не человек! Это ясная холера! Здесь тебе не советская гноювка, чтобы молоть глупости. Отвечай, почему ты перешел в Польшу?

Лазик задумался. Ему было и впрямь трудно ответить на этот резонный вопрос.

— Скорее всего потому, что на меня подул задний ветер. Если у вас есть часок-другой времени, я, конечно, расскажу вам все по порядку. Началось это с глухонемой Пуке. Я был влюблен тогда в Феню Гершанович, а вы сами знаете, что любовь не простой овощ...

— Быdle! Так ты разговариваешь с польским офицером? Здесь тебе не Азия. У нас Париж. У нас Лига Наций. У нас в Вильне — шикарный университет. Мы Коперника родили. У нас роскошные кокотки в цукернях. Я тебе морду развалю! Отвечай по порядку: кто ты такой?

— Бывший мужеский портной.

— Ага! Кравец.

— Я вовсе не Кравец, а Ройтшванец, но у нас в Гомеле немало Кравцов. Один Кравец даже состоял комиссаром и давил тифозных блох, а другой Кравец готовил из венгерского скипидара «пейсаховку», потом его, конечно, загнали куда теленок Макара не гонял...

— Помолчи, болван! Откуда ты родом?

— Я уже сказал вам, что я из самого Гомеля.

Ротмистр, утомившись, задремал. Разбудили его шаги вестового. Очнувшись, первым делом он крикнул:

— Еще едно бутэлька!.. Откуда ты, сукин сын? Из Хомеля. Вот так! Значит, ты поляк. Хомельщина это же наши крессы. Стань во фронт перед офицером, старая шкапа! Ты паршивый жидентко, но ты поляк Моисеева закона, потому что эту Хомельщину мы у вас скоро отобьем. Вы все хомельские на самом деле поляки.

Ротмистр теперь дул водку из чайного стакана, Лазик глядел на него задумчиво и нежно.

— С вами же будет, как со мной в «Венеции», и здесь даже нет чашки. Вы говорите, что я поляк? Может быть. Я об этом еще не думал. Но я был ученым кандидатом

Академии. Почему же мне не стать поляком? Вот с Пфейфером вам будет, наверное, труднее, потому что он упрям, как осел, и потом, он сейчас в польском Гомеле, а вы еще здесь. Он может сказать, например, что он не поляк, а гневный член ячейки. Я же стою здесь и не спорю. Поставим десять точек и скажем, что я полнокровный поляк...

Ротмистр больше не слушал его. Он гаркнул:

— Встань, холера! — Хоть Лазик и до этого стоял, — Встань и пой наш богатырский гимн «Еще Польска не сгинела, пуки мы жиемы»!..

Здесь-то Лазик прервал пение отчаянным возгласом:

— При чем тут Пуке?..

— Молчи, стерва! Ты ликовать должен, бить в бембе-ны, дуть в тромбы, ходить на голове, а ты еще пищишь что-то. Я из твоей морды компот сделаю! Я тебя выкину в окошко! Ты у меня будешь на бруке лежать!..

Лазик вздохнул.

— Снова брюки? Но эти суконные близнецы преследуют меня до самого гроба!..

— Я тебя в козе загною! Ты у меня узнаешь, что такое Речь Посполита! Это тебе не червоный навоз!

— Я уже узнал. Мне, кажется, пора идти на посполитные занозы, а вам не мешает поискать, где здесь какая-нибудь удобная чашка, не то вы испачкаете мое дорогое признание, которое вы записали на этом роскошном листе. Я сам вижу, что я не у себя в Гомеле, а в замечательной Речи. Правда, там меня спрашивали о кубических метрах безответного отца, зато вы хотите сразу варить из меня какое-то сладкое блюдо. Рожайте же ваши шиковные цукерни и отбирайте у меня хоть сто Пфейферов, но теперь закончим этот певучий монолог.

Тогда ротмистр, поднатужась, встал, отвесил еще одну затрещину и, видимо, покоренный красноречием Лазика, пошел разыскивать укромное место. Лазика отвели в камеру.

Через несколько дней его перевезли в Гродно. Там он подвергся новому допросу. Офицер, допрашивавший его, был отменно вежлив, он даже сказал «пане старозаконный», и Лазик в умилении воскликнул:

— Нельзя ли, чтоб меня всегда допрашивали утром, когда господа ротмистры пьют кофе с молоком, а не эту «чистую»?

Ротмистр ничего не ответил. Он только деликатно

прикрыл рукой рот. Что делать — он любил иногда схватить натошак склянку хорошей сливовицы.

— Итак, вы сами сознались в том, что нелегально перешли границу для преступной пропаганды среди якобы белорусских крестьян.

— Он, наверное, не нашел чашки, тот первый ротмистр, он испачкал лист, и вам показались ненаписанные буквы. Я сознался только в том, что меня зовут Ройтшванец и что я полнокровный поляк. О крестьянской пропаганде и о якобы мы даже не разговаривали. Мы говорили о самых различных вещах, например, о том, что можно взять и замордовать дедушку Пилсудского или украсть целое Вильно со всеми его планами, но о крестьянах пан первый ротмистр даже не заикался.

— Значит, вы отказываетесь от своих собственных показаний? Теперь вы утверждаете, что вы поляк?

— Положим, это утверждаю не я, а вы или даже ваш родимый товарищ по профсоюзу. Он ведь сам сказал мне, что Гомель это полнокровная Польша, а я только пархатый Моисей польского закона.

— Конечно, Гомель — польский город. Мы были там, и он принадлежит нам по праву.

Лазик оживился.

— Вы были, пан ротмистр, в Гомеле? Это город высший сорт! Не правда ли? Один парк Паскевича красивой всех кисточек Рафаэля. А театр, что он, плох? А Сож, чем это не показательное море? Таких деревьев, как в Гомеле, я еще нигде не видел, и таких женщин я тоже не видел, потому что если сравнить теперь с исторической высоты Фенечку Гершанович и Ньюсю, временно Ройтшванец, то сравнение не выдержит. Но зачем я говорю вам об этом, когда вы сами были в Гомеле? Интересно, где вы там останавливались? Если в первой коммунальной гостинице, то, конечно, там отборное положение, так что можно с балкона глядеть на всех проходящих знакомых, но зато там нахальные клопы.

— Вы меня не совсем поняли. Я лично в Гомеле никогда не был, но мы, поляки, были в Гомеле, следовательно, морально он наш.

— Вы такой симпатичный, пан ротмистр, что мне хочется сделать вам цветочное подношение. Вы не кричите мне, что я, скажем, старый шкаф, и вы держите ваши руки всего-навсего в положенных карманах. Так послушайте — я разводил в Туле мертвых кроликов. Это

очень красивый город с сокращенным штатом. Что же, в Туле тоже был один поляк, я даю вам честное слово. Он заведовал в коммунальном отделе постыдными бочками, и он приходил к нашей курьерше Дуне, и он все время причмокивал: «Что это у вас, коханный товарищ, за божественные перфумы?..» Дорогой пан ротмистр, вот вам еще один город. Это не шутка! За пять минут вы неслышанно разбогатели. У вас Хомельщина, у вас Тульщина. Напишите открытку Рюрику Абрамовичу, и он, наверное, подарит вам всю Нарымщину. Тогда вы станете целым полушарием. Я же вас попрошу только об одном: отпустите меня на свободу! Вдруг я попробую сшить какому-нибудь польскому Моисею костюм из его материала. Я все-таки устал сидеть на занозах, у меня сзади уже не Ройтшванец, но полное решето.

— Увы, я не могу отпустить вас. Вы советский шпион, и вас можно присоединить к любому делу, например, к заговору во Львове, к бомбам в Вильне, к гродненским прокламациям, к подделке печатей в Лодзи, к покушению на маршала в Кракове, к складу оружия в Люблине...

— Умоляю вас, остановитесь! Я же знаю, что у вас много городов. Такой походкой вы дойдете сейчас до Тулы. Но я не хочу, чтоб меня присоединили. Я уж присоединился к вам, и я полнокровный поляк. Если вы встанете, я сейчас же спою вам богатырский гимн «Еще Пуке не стигнела...». Я хочу сам родить нового Коперника! Я хочу, наконец, поглядеть на этих цукерных кокоток!..

Лазик просидел в тюрьме четыре месяца. Из Гродно его перевезли в Вильно, из Вильно в Ломжу, из Ломжи во Львов. Не без гордости говорил он другим арестантам:

— Вы — быдло! А я пан ученый секретарь. Я же открыл эту Польшу, как новый Нансен. У меня теперь внутри уже не потроха, но один посполитый план с полной карточкой сильных напитков. Но я не унываю. Я уже успел заметить, что у вас здесь еще теснее, чем у нас. Шутка ли сказать, когда у вас и крессы, и Лига Наций, а на каждую нару приходится десять штук полнокровных поляков. Я хоть Моисей незначительного роста, но я все-таки занимаю свои квадратные метры, а паны ротмистры все время устраивают буйные заговоры. Значит, настанет день, когда меня выпустят и я ударю с размаху в бембены.

Наконец Лазик попал в Варшаву. Двенадцатый ротмистр любезно сказал ему:

— Скоро мы вас вышлем из Польши.

Лазик вздохнул освобожденно.

— Слава богу! Вы таки недаром родили Коперника! А что вы собираетесь выкинуть: обмородование пана Пилсудского или просто восстание сотни-другой виленских галичан? Впрочем, это я спрашиваю из голого любопытства. Мерси, пан ротмистр, мерси! Я вот все время сижу на занозах и думаю, что у вас здесь за удивительная свобода! Я ведь объехал уже десять тюрем, и я могу сказать, что это не страна, а детский праздник. Я понимаю, что вы пана Пилсудского зовете дедушкой. Глупое родство здесь ни при чем. У меня дядя Борис Самойлович, но куда ему до пана Пилсудского! Как у вас дышится самой полной грудью! Стоит только сказать последнему быдле не такое точное слово, как его поправляют на государственньй счет. А что у вас за пышные окраины! У других на окраинах один невыметенный сор. Преступник Архип Стойкий говорил мне, что у нас на окраинах живет сумасшедшая мордва и она даже кричит по-мордовски. А у вас и в Гомеле одни поляки. И все они, конечно, поют, чтобы не сгинуть. Я понимаю, что стоило, как сказал мне седьмой пан ротмистр, двести лет умирать, чтобы получить такую неслыханную свободу.

Ротмистр умилился.

— Это хорошо, что вы оценили нашу свободу. Польша, как и во времена великого Мицкевича, умеет завоевать даже самые черствые сердца. Теперь, через месяц-другой, мы вас вышлем. Вы очутитесь на свободе в какой-нибудь несвободной стране. Там-то вы вспомните о польской дефензиве. Вы вдохновенно скажете: «Речь Посполита не только очаг свободы, это и оплот правосудия».

После столь патетической речи ротмистр в изнеможении закрыл глаза и предался приятной дремоте. Лазик не торопился возвращаться в камеру, он решил продлить беседу.

— Я хочу сейчас рассказать вам одну историю о мелком скоте. Хотя я и не слышу вашего благородного дыханья, пан ротмистр, я уже понимаю, что вы не пьете ни

«зубровки», ни «старки», ни «чистой», ни даже «сливовицы». Вы, наверно, все думаете о какой-нибудь Лиге Наций. Так вам будет занятно послушать эту старую историю. Когда я был еще не поляком Мойсеева закона, а только обыкновенным евреем из неустановленного Гомеля, я учился в хедере, и там мне рассказали этот веселый факт. Вы, конечно, знаете об Александре Македонском. Он был самым главным маршалом. Кто-нибудь его, наверно, да родил, как вы Коперника. Так вот этот Александр Македонский ездил по всему свету, вроде меня, и он попал в гости к дикому царю. Можете себе представить разницу между Александром Македонским и каким-нибудь сплошным дикарем! На одном, наверно, был пышный мундир, вроде вашего, а на другом — хорошо если штаны из последней бумажной дряни. Александр Македонский попал прямо на суд, и дикий царь перед ним допрашивал своих дикарей. Видите ли, один дикарь купил землю у другого дикаря, он хорошенько порылся и нашел там сверточек, может быть, с английскими бумажками. Спрашивается, кому принадлежит этот сверточек: тому, кто продал землю, или тому, кто ее купил? Дикарский царь говорит:

— У тебя есть, может быть, сын?

— Есть.

— А у тебя нет ли, кстати, дочки?

— Есть.

— Тогда ты женишь своего сына на его дочке, и сверток вы отдадите молодым.

Александр Македонский услышал это, и он стал в изумлении пожимать плечами: что за дикарские выдумки? Они же не знают настоящего правосудия! Тогда дикарский царь спрашивает его:

— А разве в твоей великой стране суд поступил бы иначе?

Здесь Александр Македонский так расхохотался, что у дикарей лопнули все дикарские перепонки. Вот, кстати, я хотел бы послушать, как смеется пан Пилсудский. Это, должно быть, тоже сильная музыка.

Но все-таки я думаю, Александр Македонский смеялся еще почище. А когда ему надоело смеяться, он сказал дикарскому царю:

— У нас? Но у нас нет таких дикарей, как, скажем, ты. У нас обоим отрубают на всякий пожарный случай головы. Может быть, они устраивали заговоры или вообще

швыряли бомбы. А сверточек? Сверточек берут в государственный банк, потому что деньги всегда пригодятся, если нужно каждый день резать головы и еще содержать шикарную свиту.

Ну, тогда настал черед пожимать плечами дикарскому царю. Он не умел так смеяться, как Александр Македонский: для этого нужно иметь настоящее государство, вот как у вас, с шикарным университетом. Нет, дикарский царь только кротко спросил Александра Македонского:

— Скажи, а в твоей великой стране солнце светит?

— Еще бы! Когда на небе солнце, то оно светит.

— А дождь в твоей великой стране идет?

— Что за вопросы? Когда идет дождь, тогда он идет.

— А есть в твоей великой стране мелкий скот?

— Дай бог тебе столько мелкого скота, сколько в моей стране.

Задумался дикарский царь, а потом говорит:

— Знаешь что, Александр Македонский, если в твоей великой стране еще светит солнце и еще идет дождь, то это только ради мелкого скота.

Хорошенькая история, пан ротмистр? Но почему вы так смотрите на меня? Вы же не Александр Македонский! Ой, пан ротмистр, что у вас за кулак! Это настоящая артиллерия! У вас кулак, как у пана ротмистра номер шесть. Я тоже рассказал ему один старозаконный факт, а он ответил мне кровавыми бенбенами. Еще два-три пана ротмистра, и от Ройтшванца вообще ничего не останется — только один синяк верхом на занозах.



тринадцатым ротмистром Лазику довелось беседовать в Познани. Войдя в кабинет, он весело представился:

— Я тот самый Ройтшванец. Сегодня чудесное утро! В этой тюрьме не слышно воробьев, но сегодня они, наверное, поют, как звезды в оперетке, потому что это международная весна. У нас в Гомеле сейчас тает могучий лед, Пфейфер, конечно, ругается, потому что у него дырявые галоши, а Феня Гершанович швыряет улыбки, как первая любовь, хоть рядом с ней Шацман или даже не

Шацман. Что же на свете лучше такого дня!.. Я очень рад с вами познакомиться. Правда, вы не первая любовь, вы тринадцатая любовь, но это счастливое число, это чертова дюжина.

— Преступный москаль, ты должен плакать, а не шутить. Только что я подписал приказ о твоей высылке, и завтра ты должен покинуть нашу прекрасную Польшу.

Здесь с Лазиком случилось нечто невообразимое: от радости он совсем потерял голову. Он прыгал из угла в угол, жужжал, как шмель, бил себя по злосчастным местам ладошами; наконец, вспомнив уроки киевского паразита, он стал танцевать перед растерянным ротмистром настоящий фокстрот.

— Ты взбесился?..

Но Лазик не мог вымолвить ни одного слова. Он только продолжал издавать трубные звуки. Тогда, всполошившись, ротмистр вызвал врача:

— С арестованным от душевного потрясения сделались страшные судороги. Это может быть пляска святого Витта или апоплексический удар? Как тяжело глядеть на страдания человека, будь то даже большевистский злодей!

И добрый ротмистр, вынув большой фуляр, трагически высморкался. Доктор осмотрел Лазика.

— Покажите язык. Говорите «тридцать три». Дышите. Не дышите. Я думаю, пан ротмистр, что это не так опасно. Я пропишу ему касторки и шестимесячный курс водолечения.

Услыхав это, Лазик мигом присмирел.

— Я выпью хоть бочку касторки, пан доктор, но разрешите мне лечиться где-нибудь за границей. Честное слово, я найду воду и в другой стране, это же не такая редкость.

Ротмистр не выдержал: он заплакал.

— Как это ужасно! Он мог бы еще шесть месяцев провести в польской тюрьме, и вот он должен завтра уехать. Сколько на свете горя! Я гляжу на него, и мое сердце рвется на части. Дайте ему, пан доктор, хотя бы касторки, чтобы он не умер в пути от разрыва сердца. Почему ты не плачешь, разбойник? Облегчи себя слезами. Подумай, завтра взойдет солнце, на улицах будут гулять прекрасные панны, в графинчиках будет играть всеми цветами радуги наша знатная «перлувка», даже за тюремной решеткой будет журчать певучая речь, а тебя в это время повезут куда-нибудь в угрюмые страны...

Лазик забеспокоился.

— Что вы называете «утрюмыми странами»? Северный полюс? Или Румынию?

— Тебя вышлют на ближайшую границу. Пей касторку! Молись богу! Рыдай! Завтра утром...

— Утром...

Лазик опять издал неподобающий звук.

— С тобой начинается снова припадок?

— Да нет же, пан ротмистр. Как говорил ваш самый первый родоначалник, я только дую в tromбу. Будь у меня монета, я бы выставил вам на радостях бутылку этой знатной «перлувки».

— Безумец! О какой радости ты говоришь? Если бы у меня было черствое сердце, я бы радовался: вот еще один азиат покидает нашу святую землю! Вот мы вытряхиваем прочь еще одного большевика, татарина, москаля, насильника, палача, варвара! Не забывай, что вы сморкались двумя пальцами, когда у нас жил Сенкевич. Да, я бы мог радоваться. Но ты должен бить себя горестно в грудь. Или ты сумасшедший, и тогда мне придется подвергнуть тебя медицинской экспертизе.

— Нет, не подвергайте! Лучше я выпью касторки. Я ударю себя в грудь. Я бы вам объяснил, почему я дую, я только боюсь, не занимаетесь ли вы по утрам гимнастикой. Нет? Вы по утрам пишете доклады? Вот и чудесно. Тогда я расскажу вам, в чем дело. Когда я связываю пожитки, у меня моментально развязывается язык. Начнем с фараона. Это был один высокий чин, который сидел наверху, а внизу евреи строили пирамиды. Он щелкал бичом, а они должны были строить. Скажем, что они были Мойсеями фараонова закона, хотя Мойсея тогда не было, и когда Мойсей оказался, они решили: сколько же можно строить, ну, десять пирамид, хватит, и они ушли пешком из Египта. Здесь началась дискуссия. Одни говорили, что евреи радовались, удрав из Египта, хоть им и пришлось кушать какие-то мелочи с неба, а другие уверяли, что радовался фараон, потому что с евреями, как вы сами знаете, уйма хлопот, надо их громить, или вешать, или бесплатно кормить в тюрьме певучими разговорами. Вот тогда-то нашелся умник, который сразу осветил момент. Он так сказал: «Когда едет тучный человек на маленьком ослике, ему неудобно и ослу неудобно, а когда они приезжают, то оба рады. Но вот вопрос: кто больше радуется, всадник или осел...» Значит, мы можем оба радоваться.

Вы спрячьте ваш плачевный платок и перестаньте сморкаться, как Сенкевич. Танцуйте лучше фокстрот. Ведь это радость — избавиться от подобного Ройтшванца! Но что касается меня, я все-таки думаю, что еще больше радовался осел...

На этом кончилась беседа между Лазиком и познанским офицером. Я не стану описывать последующего. Достаточно сказать, что тринадцатый ротмистр подвел Лазика: по утрам он не только писал доклады.



С начала Лазик обрадовался: ему показалось, что все кругом говорят на еврейском языке, только слегка испорченном. Он даже шепнул в восторге начальнику станции: «Вус махт а ид?» — но тот так мрачно гаркнул, что Лазик поспешил скрыться. Внимательно всматриваясь в лица, он бродил по местечку:

— Наверное, здесь живет какой-нибудь Мойсей немецкого закона.

Действительно, вскоре он увидел недвусмысленный нос. Радостно подбежал он к его владельцу.

— Я таки нашел вас! Здравствуйте, здравствуйте, как вы здесь живете, и да пошлет вам бог все двенадцать сыновей, чтобы было кому сказать хорошенький «кадиш» на вашей близкой могиле! Вы, конечно, должны помочь мне, потому что вы еврей и я еврей. И до свидания в будущем году в Иерусалиме. Мне нужно несколько плевых марок, чтобы доехать до Берлина и, понятное дело, закусить. В Польше я успел проголодаться. Подумайте, у вас, наверное, были родители, и их, наверное, уже нет. Я буду всю жизнь за них молиться. Но если вам мало моих набожных слез, я могу вам сшить, например, галифе защитного цвета. Я могу даже...

Господин Розенблюм строго оборвал Лазика:

— Я вас понимаю только потому, что живу недалеко от границы. Однако я не иудей, я настоящий немец. Конечно, я исповедую мозаизм, но это мое частное дело. Для заупокойных молитв я уже нанял одного человека, и я не так богат, чтобы за моих дорогих родителей молились двое. Я не ношу никаких галифе. Меня одевает пор-

тной Шпигель, который одевает также всех господ советников коммерции и даже господина фон Кринкенбайэра. Но если вы укоротите мое зимнее пальто, перелицуете костюм, выгладите весь гардероб и почините детские костюмчики, я дам вам пять марок, хоть вы восточный иудей, полный холеры, тифа и большевизма, я дам вам пять марок, потому что вы тоже исповедуете мозаизм.

— Вот мы и спелись! Я так кладу заплаты, что люди видят за сто верст, и они кричат от восторга. А что касается родителей, то для такого коммерческого советника одного молельщика мало — надо двоих. Ведь я могу биться о заклад, что их было двое — ваших родителей, а не один. Я, например, выберу вашу безусловную маму. Одним словом, мы пойдем друг друга. Главное, что вы частный мозаист, а остальное ерунда, это детский костюмчик...

Важен почин: Лазик прожил в местечке десять дней, перелицовывая, латая, укорачивая. Он прямо заходил во двор.

— Ах, вы тоже исповедуете?.. Что же вам такое укоротить?

Наконец все брюки были укорочены и залатаны. Лазик кое-как добрался до Кенигсберга. Увидев памятник Канту, он загрустил.

— Гомельское счастье! Что мне делать с ним? Не укорачивать же. А найди я его тогда в клубе «Жарчсмак»! Как бы обрадовался товарищ Серебряков, если б я сразу изъяс такую каменную осетрину. Впрочем, о чем теперь говорить? Я должен либо закусить какой-нибудь крошкой хлеба, либо немедленно умереть.

Он остановился у витрины колбасной и, захлебываясь слюной, прошептал:

— Какая красота! Какая кисть!

Но хозяин прогнал его.

— Не занимайте места! Здесь покупательницы привязывают такс.

Он хотел перейти на другую сторону улицы, но полицейский строго прикрикнул на него:

— Вас мог раздавить автомобиль. Сегодня здесь нет автомобиля, но вчера вечером проехало два. Вы не имеете права рисковать вашей жизнью.

Он присел на скамейку парка, но тотчас же вырос из-под земли неумимый сторож.

— Это только для кормилиц и для слепых или полуслепых солдат.

Тогда Лазик уныло вздохнул.

— Я, кажется, схожу с ума.

— По средам и пятницам с девяти сорок пять до десяти тридцать бесплатные консультации в городской лечебнице.

Он разыскал в толпе носатого господина.

— Остановитесь с вашим мозаизмом! Я тоже, и я еще ничего не ел!

Носатый оттолкнул Лазика.

— Синагога помещается на Викториаштрассе, семнадцать, а торговля кошерным мясом на Шиллерштрассе, одиннадцать; нищенствовать запрещено постановлением полицей-президиума от шестого июня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.

Лазик крикнул:

— Я хочу сейчас же лечь в готовую могилу!..

Тогда из толпы вынырнул какой-то субъект и, протянув ему карточку, быстро проговорил:

— Продажа кладбищенских участков всех исповеданий с серьезной рассрочкой.

Наконец Лазик свалился без чувств на мостовую. Над ним наклонился высокий мужчина с мутными опаловыми глазами и коротко остриженными усиками:

— Эй, вы, упавший... В чем дело?.. Вы задерживаете движение. Вы акробат или у вас эпилепсия?

Не получив ответа, он пихнул ногой Лазика. Тогда раздался слабый писк:

— При чем тут акробаты? У меня только сильный аппетит после певучей речи. Будь у меня деньги на серьезную рассрочку, я сейчас же лег бы в загробный участок.

Высокий мужчина внимательно оглядел Лазика.

— Лежать на тротуаре запрещено. Вот вам десять пфеннигов. Зайдите в ту булочную и купите хлебец. Вы съедите его потом на темной улице. Я жду вас у остановки трамвая. Здесь стоять нельзя — это задерживает движение. Живее!..

Последнее было излишним — несмотря на слабость, Лазик рысью помчался в булочную.

— Где же хлеб? В кармане?

— Увы, нет! В кармане только дырка. А хлеб по соседству — уже внутри.

— Беспорядок. Десять пфеннигов — мои. Вы обязаны

меня слушаться. У меня — серьезные планы. Я могу обеспечить ваше будущее. Что вы умеете делать?

— Все, что хотите. Я кладу, например, такие заплатки, что их нельзя ни с чем спутать. Когда я в Гомеле залатал брюки Соловейчика, все узнавали его только по моей работе. Он еще шел по базарной площади, а уже возле вокзала кричали: «Идет заплатка Ройтшванца!»

— Лишено смысла. Должны быть незаметны. В Кенигсберге шесть фирм. Больше вы ничего не умеете делать?

— То есть как это «ничего»? Я же сказал вам, что я все умею, я умею даже размножать мертвых кроликов.

— Лишено вдвойне. Кроликов здесь не едят. Свинину и телятину. Из дичи, например, заяц или коза.

Булочка была крохотной, Лазик завопил:

— Остановитесь, как будто вы задерживаете движение! Если вы размножаете зайцев, я тоже могу, только дайте мне вперед какой-нибудь хвостик или крылышко козы.

— Ошибка. Не размножаю. У меня лучший аптекарский магазин города Кенигсберга и всей Восточной Пруссии. Поставщик бывшего его высочества. Подберите при имени живот! Я обслуживаю достойные семьи. Меня вы можете называть просто «господин доктор Дрекенкопф». С размножением здесь вам нечего делать. Размножаем только немцев. Будущих солдат бывшего его высочества. Демократы и прочие изменники по два на чегу. Национально мыслящие по шесть или по восемь. Бывает двенадцать — медаль. Я, увы, воздерживаюсь. Как патриот — хочу, как владелец аптекарского магазина — связан духовными обязанностями. Я ведь должен живым примером рекламировать мой товар. Итак, вы ничего не умеете делать. Кто же вы такой?

— Я — ученый секретарь.

— Ученый? Химия? Газы? Анилин? Инженер? Дороги? Мосты? Архитектор? Железобетон? Клозеты?

— Нет, я ученый с другой стороны. Я, видите ли, немало спец насчет могучего языка.

— Филолог? Наверное, санскрит? Лишено втройне. Знаете малайский? Ацтекский? Залусский? Тогда поезжайте в Гамбург. Предстоит торговля. Еще пять лет — у нас будут колонии...

— Не думайте, господин доктор Дрекенкопф, что в этой булочной мне дали, скажем, свиной окорок. Это был

хлебец не больше ваших наследственных часиков. Я даже не успел его хорошенько обнюхать. А после такой голодной предпосылки вы говорите «ацтек». Это же полное истязание! Ну, откуда я могу знать какой-то малайский язык, когда я сам из Гомеля? Языки? Я знаю кучу языков. Я знаю, например, как евреи говорят в Гомеле, как они говорят в Глухове и как они говорят в самой Москве. Это, правда, не санскрит, но это три могучих наречья в одном союзе. Потом я знаю польский язык. «Пане Дрекенкопф, вы таки бардзое быдло». Это ведь не язык, это сплошная певучесть! Я знаю, наконец, немецкий язык, и если я сейчас говорю не так, как вы, или как он, или как господин Гинденбург, то только потому, что я с детства был неслышанным оригиналом. Но разве это не замечательно звучит: «Господин доктор, ир зонд а замечательный хохем»? Кажется, сам господин Гинденбург не сказал бы лучше.

Господин Дрекенкопф молчал. Его лицо выражало душевную борьбу: опаловые глаза отливали радугой, а усики судорожно подпрыгивали. После долгой паузы он заговорил:

— Раздвоение личности. Интересно для чистого разума. Не кольд-крем, но психоанализ. Развивая коммерцию, я тоже служу отечеству. Его высочество поняло бы. Оно ведь покупало свечки в задний проход и ремень. Подберите, кстати, живот! Вы — еврей. Следовательно, вас надо прогнать. Сообщить в полицей-президиум. Настаивать на высылке. Вы предали бело-красно-черный ради желто-красно-черного. Это неслышанно! Это потоп! Это покушение на нашу расу! Вы, наверное, родственник Вирта, Вильсона, Гейне. Кузен. Отобрать у вас десять пфеннигов. Дать лучшее рвотное из моего магазина. Дело нескольких минут. Стоп! Куда вы бежите! Я еще ничего не даю вам. Я только размышляю вслух. Как Кант. Как его высочество. Подберите!.. Это одна половина. Другая: у меня имеется план. Вы — находка. Во всем Кенигсберге нет такого выродка. Вы весите, наверное, сорок килограммов. Не больше. Дегенеративный рост. Метр тридцать. Не больше. Можете сойти за восьмилетнего ребенка. Преждевременная старость. Вы же уникам! Я колеблюсь. Моя душа рвется на две части.

Лазик трусил рядом и дрожал: какой же он страшный, этот доктор! Если он даже даст заячий хвостик, этим еще не все сказано, когда он только что хотел взять

назад несчастную булку. Откуда я знаю Вирта? И если у него рвется душа — пусть, только чтоб он меня не рвал!..

— Решено. Я прощаю вам ваше проклятое происхождение. Я беру вас. Двадцать марок в неделю. Деньги вкладываю еженедельно в банк на ваше имя. Контракт на один месяц. По истечении этого срока банк выдает вам всю сумму. Питаться вы будете у меня. Предупреждаю — строгая диета. В день один сухарь, два стакана молока. Необходимо предотвратить увеличение в весе. Вы должны сохранить в глазах томность. Изредка падать без чувств. Зато через месяц вы получите восемьдесят марок. Вы сможете съесть хоть сотню свиных котлет. С капустой или с картошкой. Или даже с яйцом. В сухарях... Вкусно? Согласны?

Тогда Лазик проговорил, нет, он прорычал:

— Но ведь это в сухарях через месяц!..

— Если мы подпишем контракт, я разрешу вам на сегодня отступление от диеты. Вы получите кусок колбасы и яблочное пюре.

— Хорошо. Я уже подписываю. Зачем моей душе вперед рваться на части? Я ведь все равно хотел лечь в расщелку. Конечно, с одним сухариком я обязательно лягу, но пока что я съем кусок колбасы и это нечто из яблок. Скажите мне только, господин доктор Дрекенкопф, от какой болезни вы хотите меня лечить и что это у вас за сострадательные привычки?

— Лечить? Не собираюсь. Я — доктор философии. Я развиваю коммерцию. Германия — первая страна в Европе. Но она отстала от Америки. Мы должны совершенствоваться. Развитие воли и разума. Основной двигатель торговли — реклама. К сожалению, не применяется в аптекарских магазинах. Кант написал о чистом разуме. Его высочество огласило письмо к инвалидам. Я скажу: пузырь для льда, клистирная кружка, даже скромный горчичник ничуть не хуже мельхиоровых подносов или самопишущих перьев. Это вещи в себе. Их можно возвысить до абсолюта. Необходима только реклама. Весной я рекламировал клизмы. Я выставил груды камней: пища. Точная таблица: мясо — столько-то, хлеб — столько-то. Мы глотаем камни. Люди ленятся, боги ленятся, ленятся кишки. Да здравствует промывание! Электрические лампы освещали весь путь от глотки до прохода. По стеклянным трубочкам струилась вода. Все, что задерживает

движение, должно быть устранено. Громкоговоритель ревел: «Я промываю, ты промываешь, его высочество промывает». Ну, живо подберите!.. Теперь я хочу рекламировать рыбий жир. Вы ребенок, которому давали подделки. Вилли употреблял только исландский жир моей марки. Кроме того, ввиду больших затрат я присоединяю рекламу некоторых изделий. Деликатно, чтобы не смутить почтенных матерей. Герметическая упаковка. Первый в Восточной Пруссии. Опередил Америку. Мы, немцы, не останавливаемся на полпути. Разум так разум. Багдад так Багдад. Америка так Америка. Главное — осветить духом. Вода бежит по трубочкам. В герметической никогда не рвутся. Звезды на небе радуют. Жир из лучшей трески...

Лазик не слушал господина доктора. Зачем его слушать, когда это, наверное, полный санскрит? Вот что он понимает под «кусочком колбасы»? Ломтик или четверть фунта?..

Немец провел Лазика в столовую. Там находились белобрысая рыхлая женщина лет сорока с печальным взглядом мертвой трески и чрезвычайно упитанный детина в коротких штанишках и в детской матроске. Господин Дрекенкопф обратился к супруге:

— Это мой новый пациент. На строгой диете. Один сухарь, четверть литра молока. Иногда — падать без чувств. Сегодня — отступление. Ты дашь ему кусочек колбасы и яблочное пюре, два сухаря. Спать не больше шести часов. Понятно? Теперь гербовую бумагу. Мы подпишем контракт.

Рука Лазика дрожала. Еле-еле он вывел «Ройтшванец» и рядом поставил маленький крест, объяснив недоумевающему доктору:

— Коротенький символ, хоть я и исповедую мозаизм, ведь скоро я лягу в рассрочку.

Прежде чем проглотить крохотный ломтик колбасы, Лазик старательно его обнюхал. Госпожа Дрекенкопф обиделась:

— У нас все продукты свежие.

Господин Дрекенкопф прибавил:

— Самые свежие в Восточной Пруссии.

Но Лазик виновато пояснил:

— Я нюхаю его только на память, чтобы не забыть, как это может раздрающе пахнуть, когда я буду есть один самый свежий сухарь.

Настоящее испытание началось, однако, когда служанка принесла ужин толстому детине. Хозяин пояснил Лазику:

— Это — Вилли. Редкая находка. Двадцать семь лет. Лицо ребенка. Вес девяносто два килограмма. Рост один метр восемьдесят один. Видите — цвет лица? Треска из Исландии. Четыре марки девяносто пять литр.

Вилли подали большущий хлеб, солонину с картошкой, манные клецки с жареным салом, свиные котлеты с фасолью и, наконец, рисовый пудинг. Он пил пиво кружку за кружкой и тяжело дышал. Потом он даже стал хрипеть. Он попробовал было оставить на тарелке одну клецку, прикрыл ее ложкой, но господин Дрекенкопф сурово сказал:

— Вилли!..

— Я больше не могу. Я лопну. Вам же будет хуже: я разобью стекло.

— Вилли!..

Тогда Лазик попробовал вмешаться:

— Господин доктор, может быть, я съем эту клецку? Я ведь, наверно, не лопну.

Но хозяин не удостоил его ответом. Он только взглянул, так взглянул, что Лазик тотчас же опустил глаза.

На следующее утро возле аптекарского магазина господина Дрекенкопфа толпились прохожие. В витрине сидели два мальчика. Один, розовый и огромный, блаженно улыбался. На его груди значилось: «Меня поили настоящим рыбьим жиром из печени исландской трески. Продается только здесь. 4.95 литр». Другой мальчик уныло вздыхал. Зеваки дивились.

— Можно подумать, что ему сорок лет.

— Откуда они такого уroda выкопали?..

— Может быть, это карлик?..

— Какой же карлик! Поглядите, он со слюнявкой. И написано: «Мне одиннадцать лет». Это просто отсталый ребенок.

Кроме справки о возрасте надпись гласила: «Меня поили поддельным рыбьим жиром. У меня рахит, малокровие, белокровие, паралич, истерия и семнадцать других болезней. Предохраните ваших детей от моей ужасной судьбы! Если вы вовсе не хотите иметь детей, вроде меня, приобретите «Нимальс», абсолютная гарантия. 1.90 пакет».

Господин Дрекенкопф сквозь щелку наблюдал за поведением экспонатов. Время от времени он шептал:

— Вилли, улыбайтесь! Пошлите воздушный поцелуй даме! Поднимите гирию! Пойте от счастья!

— Еврей, стоните! Бейте себя в грудь! Рвите волосы! Постарайтесь упасть без чувств!

Мальчики тихонько беседовали. Оказывается, краснощекий Вилли не так-то был счастлив.

— Этот мясник мучает меня уже третью неделю. Я не могу столько жрать. Я лопну, видит бог — я лопну. Он запретил мне ходить. Хуже того, я живу как монах. Ему хорошо — он сумасшедший, это все знают. Он может жить с ночными туфлями. А у меня все внутри чешется. Еще — улыбаться даме! Я вот разобью стекло и как прыгну на нее...

Но Лазик у трудно было понять своего товарища:

— Зачем вам прыгать, когда вам через час дадут снова десять клеток? А мне — полсухаря. Эти болваны, может быть, думают, что я в Гомеле пил какие-то дурацкие подделки? Я сейчас расскажу вам, что я ел на свадьбе у Дравкина. Я сшил Дравкину позапрошлый сюртук, и он так растрогался, что сразу сказал мне: «Ройтшванец, приходи на мою роскошную свадьбу!» И я пришел. И я ел. Я ел, например, рубленую печенку с яйцами. Это раз. Я ел гусиные шейки с гречневой кашей. Это два. Я ел шкварки, и я ел кнедлах, и я ел студень. Это уже, кажется, пять. Но зачем глупый счет? Я ел сто блюд. Какая курица! Но я же идиот, я забыл о фаршированной рыбе! Она была с красным хреном, потом — «кугель» с изюмом, «цимес» с черносливом и редька с имбирем. Но зачем забегать вперед? Можно еще поговорить о тех же шейках. Они были так хорошо поджарены, что корочка хрустела на весь Гомель, а фарш сделали с луком и с грибами...

Здесь раздался зловеющий шепот господина Дрекенкопфа:

— Еврей, сейчас же перестаньте улыбаться! Какая наглость! Думайте о чем-нибудь высоком! Например, вы — в рассеянии.

— Хорошо, господин доктор, я уже думаю: «Несчастный Ройтшванец, ты в рассеянии. О шейках не может быть речи, а через час тебе дадут половину незаметного сухаря». Вы видите — я вздыхаю. Я плачу. Я опускаюсь в вашу Исландию. Я, кажется, снова падаю без всяких чувств...



В последующем виноват сам господин Дрекенкопф. Нельзя даже в Кенигсберге жить только звездами и чистым разумом. Будучи, как известно, патриотом, он произвел сына и дочь, но на этом остановился, заявив озадаченной супруге:

— Здесь начинается аптекарский магазин.

Госпожа Дрекенкопф осталась с вареным картофелем и с ненужной негой в тусклых очах. Господину доктору было не до нее. Он двигал вперед коммерцию. Он размышлял об абсолюте. По воскресеньям совместно с единомышленниками исполнял он на тромбоне патриотические марши. Он исправлял на школьной карте границы Германии. Он чистил мелом каску. Он пил пиво. Он душил во сне колониальных наложниц. Словом, у него было немало государственных дел. Кроме того, он знал и невинные развлечения. Раз в неделю он двоился. Почтенный господин доктор оставался на вывеске аптекарского магазина и в сознании всех уважаемых клиентов. Тело же уходило на Кайзерштрассе в дом номер шесть. Там жесткие усики экстатически топорщились. Вилли не соврал: господин доктор Дрекенкопф любил исключительно обувь. В доме номер шесть на Кайзерштрассе он кусал по вечерам старую туфлю, восклицая:

— Я грызу тебя, вечная Гретхен!.. Ура!

Все это, конечно, было в порядке вещей и никого не касалось, кроме разве госпожи Дрекенкопф. От картофеля она с каждым годом тучнела, но где-то под жирами билось ретивое сердце. Узнав о тайной страсти супруга, она попробовала надеть на голову вместо ночного чепца туфлю. Но не так-то легко было провести господина доктора!..

Госпожа Дрекенкопф отнюдь не отличалась легкомыслием. Как-то Вилли, доведенный до отчаяния хорошенькими покупательницами, толпившимися у витрины, попробовал было прикоснуться к многолетним жирам! Но госпожа Дрекенкопф строго осадила его:

— Вилли, без глупостей! Кончайте ваши клецки. Я вижу, что вы там спрятали три штуки. Я расскажу господину доктору.

Вилли раздражал госпожу Дрекенкопф. Он сопел, как

боров, а госпожа Дрекенкопф мечтала о бледном юноше с пылкими очами.

Однажды вечером она осталась с Лазиком. Господин Дрекенкопф жевал на Кайзерштрассе туфли, а Вилли спал, покорно переваривая грудку клецок. Лазик взглянул на нее, и она обомлела. Какой огонь! Какая страсть! Очарованная, она пролепетала:

— Вы похожи на Лоэнгрина... Когда так хотят, можно ли отказать?

Обнадеженный Лазик упал на колени и зарыдал:

— Один раз! Только один раз! Он не узнает. Мы назовем это выдуманном сном. Дайте же мне две или три клецки!

Жиры госпожи Дрекенкопф мощно бились о дверцы буфета, как бьются волны океана о скалы. Она дала Лазик не три, а четыре клецки. Пусть гибнет добродетель и даже рыбий жир из лучшей в Восточной Пруссии трески!.. Она выгатила из вышитого бисером футляра ночной чепчик.

— Потеряйся в моей любви!..

Лазик вспомнил: еще в хедере его учили, что хлеб надо добывать в поте лица, тем паче это относится к таким первосортным клецкам.

Четверть часа спустя он решился заговорить:

— Вы видите — я потерялся, и я уже нашелся. Я весь в поте моего лица, и я умоляю вас, дайте мне скорее, например, свиную котлету с бобами! Я слышал, как они неслыханно пахли, когда их лопал этот толстый дурак.

Лазик быстро проглотил большую котлету.

— Еще! — вздохнул он, думая о рисовом пудинге.

— Еще! — вздохнула госпожа Дрекенкопф, думая совсем о другом.

Однако они поняли друг друга. Вилли утрюмо храпел. Где-то на Кайзерштрассе господин доктор топтал в изысканности чувств послушную туфлю, а счастливые любовники нежно ворковали.

— Ты такой маленький, что я боюсь — ты можешь потеряться, как булавка...

— Не бойся, я не потеряюсь. Меня сразу все замечают. Стоило мне переступить через порог великой Польши, как меня сразу все заметили. Но я хочу спросить тебя о другом. Господин доктор говорил мне о какой-то козлиной дичи. Может быть, завтра ты приготовишь мне эту нежную шейку с капустой?

Дня три спустя господин Дрекенкопф заметил пере-

мену. Щеки Лазика покрылись легким румянцем. Он перестал стонать. Он даже нагло насвистывал Левкину песенку «Хотите вы бананы» и, улыбаясь, сам себе отвечал: «Еще бы, хочу с капустой». Словом, он вел себя так, как будто онпил всю жизнь прославленный рыбий жир по 4.95 за литр.

— Еврей, вы сошли с ума! Почему вы улыбаетесь? Как вы смеете нахально розоветь?

— Это, вероятно, от вашей промывательной диеты, господин доктор Дрекенкопф. Я ведь питаюсь замечательным воздухом, лучшим в Восточной Пруссии. Почему я розовею? Это перед смертью. Так ведь розовеет небо на закате в Гомеле или даже в вашей Исландии. Потом вы на меня надели детскую курточку и обрезали меня ровно на двадцать один год, а мой прогрессивный организм, наверное, пошел вперед, и мне теперь уже не одиннадцать лет, а всего-навсего одиннадцать месяцев. Я нежно-розовый, как дитя в колыбельке, и я пою, и я свищу, хотя у вас гербовая бумажка, потому что я или солнце накануне самой смерти, или новорожденный факт.

Ко всему Вилли заболел несварением желудка. Он сидел в витрине, мрачно подсапывая, и прохожие говорили:

— Кажется, тот маленький здоровей. Рост — это пустяки. А вы поглядите на его щечки... Вот вам и рыбий жир...

Господин Дрекенкопф хватался за голову:

— Гибнет гениальный план. Его высочество потеряло все. Восточная Пруссия теряет лучшую аптекарскую фирму.

Унынье настолько охватило его, что, направившись вечером на Кайзерштрассе, он вдруг повернул домой:

— Мне теперь не до страсти. В крайнем случае погрызу туфлю жены.

Увидев возле ночного чепца супруги наивные штанишки одиннадцатилетнего мальчика, господин доктор отчаянно завопил:

— Где вы?

Лазик плохо соображал, в чем дело, — он успел съесть две гусиные печенки и большой картофельный пирог. Он запищал:

— Я здесь! Вы не бойтесь — я не булавка, и я не потеряюсь.

Пока разъяренный господин Дрекенкопф тряс его за шиворот, он спокойно бормотал:

— Почему вы так волнуетесь? Я вовсе не собираюсь на ней жениться. Достаточно с меня московского опыта. Я у вас не отберу вашу жилплощадь. И размножать немцев я тоже не хочу. Ваш магазин ведь первый в Восточной Пруссии, и вы можете на этот счет совсем успокоиться. Перестаньте меня трясти — вы же не посполитый ротмистер! У вас чистый разум, так подумайте две минуты. Я же ничего не сделал плохого, когда я исповедую мозаизм, и там прямо сказано, что необходим пот своего лица. Неужели вы думали, что я могу жить одним ментальным сухариком?

Господин Дрекенкопф в бешенстве рычал:

— Посмотрим, разбойник!.. Я тебя в тюрьму посажу! Я сейчас же отведу тебя в полицей-президиум! Вор! Большевик! Тебе покажут там, что значит касаться супруги господина доктора Дрекенкопфа.

Воспользовавшись тем, что господин Дрекенкопф забыл прикрыть дверь, Лазик выбежал на улицу. Он добежал до первого перекрестка и осторожно, не нарушая правил о переходе улиц пешеходами, приблизился к полицейскому.

— Скажите мне, господин доктор полицейской философии, как вы думаете, если я сейчас пойду в тюрьму, меня посадят или нет? Ведь я таки ее коснулся, и она лучшая в Восточной Пруссии.

Полицейский добросовестно задумался.

— Этого я не знаю. Наверное, с вас потребуют три фотографические карточки и свидетельство о прививке оспы.

Тогда Лазик тягостно вздохнул.

— Ну что же, в таком случае мне остается только одно. Вы видите, господин полицейский доктор, я уже лежу без чувств, и я затрудняю великое движение, так что скорее ведите меня туда, и без всяких фотографических прививок!



часть улыбнулось Лазику. Он не только добрался до Берлина, он нашел там нового покровителя. Выручил его олять-таки рост. Судьба как бы хотела загладить оби-

ды, нанесенные низкорослому влюбленному и Фенечкой Гершанович и товарищем Нюсей. Лазик, пожалуй, мог бы попасть в сердечную оранжерею какой-нибудь новой госпожи Дрекенкофф, вроде карликового кактуса, тем паче что в тот год мода была на крохотные зонтики и на коротконогих собачек из породы скотчтерьеров, но новые горизонты открылись перед ним. Его подобрал свободный художник Альфред Кюммель, режиссер крупной кинофабрики.

— Какая находка! Сразу чувствуется, что вы русский и что вы большевик. Вы вели за собой орды. Эта таинственность взгляда... Скрип телег среди степей... Монгольский профиль. Мановение руки атамана. Фотогеничность ресниц. Вы получите пять тысяч марок. Вы будете играть главную роль в моей новой картине «Песня пулеметов и губ».

Лазик оробел.

— Господин художественный доктор, хотя пять тысяч марок — это столько, что это, наверное, даже не бывает, как, например, орхидеи, но я все-таки еще не тороплюсь прыгнуть вам на шею моими манованиями монгольского атамана. Во-первых, вы говорите, что я большевик, хотя я с вами совсем не знаком, чтобы доходить до таких семейных подробностей. Правда, в Гомеле Левка всегда кричал «Я закоренелый большевик», чтоб его пропустили на музыкальные гулянья, но ведь вы, кажется, не из Гомеля, а наоборот, и чтоб человека постоянно колотили — на это не пойдет даже пропавший Ройтшванец. Значит, оставим такие слова до какой-нибудь интимной конференции. Играть я, конечно, могу, я уже играл в одной официальной трагедии роль герцога с грызущими зубами и с классовым гнетом. Но вот название вашей картины мне совсем не нравится. Против губ я не возражаю. Это случается со всяким, и если даже Феня Гершанович вздумает клеветать, то я могу взять настоящий аттестат зрелости у госпожи Дрекенкофф. Но вы ведь хотите припутать к вашей песенке пулеметы. Так подобных мотивов я вообще не люблю как законченный враг нахального империализма. Восемь раз меня пробовали призывать, и восемь раз я выходил из комиссии в своих собственных брюках. Я болел сердцем, и печенкой, и пупком, и чем только я не болел. Я не успевал кроить для этих докторских художников бесплатные френчи.

Один раз мне даже вырезали за галифе из моего материала кусочек совсем здоровой кишки, только чтоб я не побежал умирать ради случайного гетмана. Скажите сами — стоило ли мне лечь под животрепещущий нож, чтобы потом приехать в Берлин и умереть от вашего пулеметного сочинения?..

Очарованный режиссер бормотал:

— Какой восточный огонь! Крохотный человечек, живой дух в немоющем теле зажигает океан, он ведет за собой толпы матросов и кочевников... Нет, дорогой мой, я вас не отпущу! Эй, шофер! Прямо на фабрику.

Альфред Кюммель показал Лазику огромные мастерские.

— Видите, все готово для съемок. Я искал только вас. Вы будете играть роль «духа степей Саши Цемальонкова». Мы затратили колоссальные суммы. Здесь — пулеметы. Куда вы? Нет, нет, я вас не пущу! Вот ваша партнерша — «душа Лорелеи». Знаменитая актриса. Познакомьтесь. Завтра сюда придут казаки. Вы опять убегаете? Швейцар, верните его! Съемка тридцать восьмой сцены: вы целуете «душу Лорелеи» среди бешеной джигитовки четырех эскадронов. Вы понимаете — это не просто картина, это мировой боевик. Поглядите: вот в том углу Красная площадь. Умилитесь — вы снова в родной Москве.

Лазик не часто бывал на Красной площади, побаиваясь, как бы стоявший возле Мавзолея часовой не выстрелил; он всегда избегал проходить мимо постов — «Что ему стоит случайно зацепить какой-нибудь крючочек, и тогда пуля очутится у меня в животе», но все же он видел Красную площадь. Он деликатно заметил:

— По-моему, это скорее похоже на полное наоборот, и если положить возле того купола ночной чепчик, получится аптекарский магазин, как две капли воды.

Режиссер дружески улыбнулся.

— Я вас понимаю. Вы хотите сказать, что не хватает воздуха, атмосферы? Но вы увидите, как изменится эта декорация, когда вы будете здесь носиться на бешеном арабском скакуне.

— До свиданья, господин свободный доктор! Спокойной ночи! Я уже несусь куда-нибудь подальше. Достаньте себе араба, чтоб он скакал на этом бешенстве, но я еще дорожу своей предпоследней жизнью.

— Пойдите! Я же сказал вам, что я вас не отпущу. Вы хотите, чтобы мы вас застраховали? Хорошо, мы пойдем и на это. Во сколько вы себя оцениваете?

— При чем тут страховка? Что я — несгораемый дом, чтобы сам себя поджечь? Может быть, я стою всего десять пфеннигов, и то это вопрос, потому что мне не на что больше класть заплаты. Но если я умру и мне выддут сто тысяч, то это же загробное надувательство! Как будто я смогу приятно плакать над своим шикарным памятником?

— Вы не умрете. Вы не подвергнетесь никакой опасности. Страховку я предложил только ввиду вашей нервности. Конечно, при съемках необходимо несколько несчастных случаев. Мы перегнали Америку, мы не останавливаемся ни перед чем. Это самая смелая реклама. Но мы удовлетворимся двумя-тремя фигурантами. Вас мы будем оберегать, как избалованную «звезду». Итак, завтра с утра мы приступаем к работе. Сейчас я ознакомлю вас с содержанием картины.

Степь. Кричат вороны. Проходят облака. Народ угнетен. Монах Распутин беспечно танцует фокстрот с придворной фрейлиной. У кочевников отбирают землю. Они вздыхают вокруг костров и кочуют. Грандиозный кадр! Матросы тоже вздыхают. Да, я забыл вам сказать, что показывается эскадра. Матросы бунтуют. Они хотят чистую воду, хрустальную воду, а им дают поддельный квас. Один матрос умирает на борту из-за боли за свой народ. Тогда выбегают кочевники и скрипят. Фрейлина бьет рабов шпорами. Облака собираются в тучи. Быстрый монтаж. Туча, шпора, слеза кочевника. Гроза. Из кургана выползает вы, то есть «дух степей». Крохотный и могучий. Вы берете икону и подымаете матросов. Все обвязывают себя пулеметными лентами. Дворец горит. Это самая дорогая сцена. Девятьсот фигурантов. Конец первой части. Вторая. Течет Рейн. Виноградники. Замки. Дочь лесничего — «душа Лорелей». Она кормит замерзающих зябликов и разучивает песни с бедными детьми. Ее никто не понимает. Рейн течет. Она чувствует призвание. Она на горе. Ее белое платье отделяется от тумана. Двойная съемка. Она бредет на восток. Вы носитесь по площади. Вы носитесь по России. Вы носитесь по Европе. Вы носитесь по всему свету. Не перебивайте меня! Тучи закрывают все небо. Матросы стали кочевниками. В кабаре «Альказар» дамы беспечно танцуют фокстрот. Ноги дам. Ко-

чевники плывут. Матросы джигитуют. Европа накануне гибели. Тогда ваша встреча с «душой Лорелеи». Она поет вам песню зяблика. Вы целуетесь. Первый план. Все целуются. Кочевники украшают телеги венками. Восход солнца. Матросы купаются в Рейне. Лесничий, благословив вас, умирает. Он оставляет вам все. Вы открываете сигарный магазин. Вы — с трубкой. «Душа Лорелеи» над колыбелью. Кочевники уходят назад в степи. Матросы подают букет из анютиных глазок Гинденбургу. Анютины глазки первым планом. Колыбель. Младенец мужественно улыбается. Надпись: «Будущий солдат Германии». Ну, разве это не здорово придумано? Любовь. Мистика. Революция. Отечество. Для экспорта только отрезать последние сто метров. Успех в Америке, в России, в Австралии, в Китае. Ваше имя — «Ройтшванец» — обойдет весь мир. Что же вы теперь молчите? Признайтесь, вы потрясены сценарием.

— Вполне потрясен. Это вроде романа Альфонса Кюроза. Вы даже можете взять кое-что оттуда. Например, зачем себя обвязывать непременно пулеметными лентами? Это же не так красиво, и это может выстрелить. Помоему, лучше, чтобы каждый взял в мощную руку теннисную ракету. Тогда получится настоящее очертание. Но вам, конечно, виднее. Я вот только хочу попросить вас об одном. Если я уже должен носиться круглые сутки по всему свету, нельзя ли обойтись здесь без арабской лошади? Пусть эти матросы скачут на чем им нравится, раз они подчиняются военной службе, а я себе буду носиться пешком.

Но Альфред Кюммель был неумолим, и на следующее утро он подвел трепещущего Лазика к лошади:

— Садитесь!

Для поддержания доблестных чувств гремел военный оркестр. Кругом гарцевали лихие казаки. На Лазика надели боярский кафтан, а поверх него пулеметную ленту. Он жмурился от нестерпимо яркого света и жалобно скулил.

Альфред Кюммель поднес к его уху огромный рупор и в ярости крикнул:

— Не теряйте времени! Садитесь живее! Каждая минута промедления стоит нам сто марок.

— Дорогой господин художник!.. Я уже отказываюсь от моих пяти тысяч.

— Садитесь!

— Как же я могу сесть, когда самое большое, на что я сажился, — это черная скамья подсудимых? Потом, если в Гомеле и стреляли пулеметы, так я же мог спрятаться в задний переход. Но я не могу спрятаться сам от себя, когда вы нацепили на меня эту плевою ленточку. Вдруг она возьмет и выстрелит?

— Довольно болтовни! Вы — «дух степей». Вы носите. Выражение удали и беспечности. Поняли? Ну, садитесь. Не бойтесь. Это дрессированная лошадь. Это старая кобыла. Это почти осел. Сели? Теперь — удаль. Эй, полный свет! Карл, припугните клячу! Операторы! «Дух степей», удаль!

Лазик только успел крикнуть:

— Прощайте, Пфейфер!.. Тпру!.. Тпру!.. Лошадь, опомнитесь!..

Напрасно грохотал рупор: «Сидите прямо! Улыбайтесь!» Лазик ничего не слышал. Сначала он еще держался за гриву, но первый же толчок отбросил его назад. Тогда он вцепился в круп лошади. Он визжал от страха. Когда показалась «душа Лорелеи», которой он должен был послать воздушный поцелуй, он уже висел как лоскуток на конском хвосте. Лошадь досадливо повела задом. Лазик очутился на земле. Он разбил нос. Вытерев боярским кафтаном кровь, горделиво подошел он к режиссеру.

— Что?.. Я таки носился, как настоящий дух.

Господин Кюммель не прибег к помощи рупора. Он так гаркнул «пошел вон», что Лазик на этот раз действительно понесся, путаясь в полах длинного кафтана. Но у самой двери он остановился.

— Вы уже успокоились после этой погони? Так теперь послушайте меня. Я же не хотел носиться. Я вам все время говорил, что я не «дух степей», а только несчастный портной из Гомеля. Вы сами меня посадили на этот кровавый эшафот. Вот вам ваш ненормальный сюртук и эти нарочные пули, а мне вы дайте немного разменной монеты, потому что хоть я и не подписал гербового несчастья, но вы же говорили вчера о страховке разных домов. Так во сколько вы застраховали мой кровавый нос? Я хочу за него хотя бы десять марок, потому что я проголодался, как настоящая амазонка.

— Эй, Карл! Покажите ему выход...

Что же, бедняга Ройтшванец снова понесся по двору, по улицам, по Берлину, по белому свету.



В течение нескольких дней Лазик раздавал на улицах проспекты венерологического кабинета, пока одна почтенная дама, которой он для верности всунул в рукав целую пачку, не избила его зонтиком. Потом в клинике знаменитого ветеринара доктора Келлера он занимал должность кошачьей сиделки. Он должен был придерживать кошек, пока их освещали фиолетовыми лучами. Кошки явно не верили в медицину, они бились и предельно царапались. Лазику пришлось покинуть и это место, после того как один сиамский кот раскровенил все его лицо, — доктор Келлер боялся, что вид забинтованного Лазика может отпугнуть впечатлительных клиенток. Тогда Лазик попал в бродячий цирк: его взяли дублировать заболевшую бронхитом обезьяну Джигу. Он должен был в шкуре и в маске лазить по трапециям. Он лазил. Он должен был грызть орехи. Он грыз. Но когда ему приказали во время спектакля скакать через барьер, он не выдержал.

— Во-первых, об этом самоубийстве вы мне не говорили, а во-вторых, если я уже должен обязательно обливаться кровью, то отстегните мне, пожалуйста, хвост, потому что с хвостом люди, кажется, не прыгают.

Так и не удалось Лазику найти тихое пристанище. Тщетно старался он соблазнить прохожих своими знаменитыми заплатами. Он предлагал шить все: френчи, боярские сюртуки, даже стальные каски. Всячески пробовал он растрогать сердца берлинцев, он напоминал им, что исповедует «мозаизм», что в него была влюблена «душа Лорелей», что наконец он не отвечает за какой-то пристегнутый хвост. На него раздраженно прикрикивали, пока сердобольный полицейский не отвел его в арестный дом. Он был привлечен по статьям, карающим нищенство, шантаж и оскорбление нравов.

В тюрьме Лазик быстро освоился: повесив над изголовьем портрет португальского бича, он начал хвастаться:

— Это уже одиннадцатая, и я могу написать роскошный путеводитель. Конечно, воздуху здесь больше, чем, например, в Ломже, но в Киеве был удивительный борщ.

Рядом с Лазиком спал некто Коц, которого посадили за кражу колбасы. По ночам он тихо жаловался:

— Я искал шесть дней работу. Потом я не выдержал. Это было на базаре. Она лежала в сторонке, и я ее сразу проглотил.

Лазик нежно хлопал огромного Коца по плечу.

— Ну, не горюйте! Вас, наверное, отпустят. Я вас хорошо понимаю. Они должны были запретить выставлять колбасу: это слишком удивительно пахнет. По-моему, такого запаха никто не может выдержать, даже сам господин Гинденбург, хоть они ему собирались нести букет из каких-то анютиных глазок. Знаете что, товарищ Коц, на земле нет справедливости! Если бы вы взяли анютины глазки, вас бы еще могли судить. Зачем отбирать у других такое подношение? Но ведь кусочек колбасы нужен всякому человеку. Тогда при чем тут болванский суд? О работе вы мне тоже не говорите. Вы ничего не нашли? Так это еще счастье. Вы — в тюрьме, и я — в тюрьме, но у вас, по крайней мере, неприкосновенный нос. Я носился на бешеной арабке, и я прыгал через свой хвост, я должен был приставать на улицах к разным докторшам, и я должен был держать настоящих сиамских тигров. Это называется «пот своего лица», и потом люди приходят в синагогу или даже в церковь, и там они кланяются богу за подобные дела. Я вообще передовой отряд, и я знаю, что наверху никому не нужны газы. Но если допустить, что наверху сидит выдуманный бог, то он же полный обманщик, и мы должны с ним поменяться местами. Он должен лечь здесь под сто уголовных статей, а мы с вами должны отдыхать на небе. Вы думаете, что я не знаю все эти проделки? Я их знаю как пять пальцев. И если начать сначала, то прежде всего — непонятный шум. Хорошо, нельзя было кушать яблоко. У бога тоже бывают фантазии. Но скажите мне, почему такой исторический крик вокруг одного маленького фрукта? Это же вроде колбасы. Но я несусь дальше. Он судит, и он присуждает. «В поте лица твоего ты будешь зарабатывать хлеб». Допустим. Это глупо — почему я обязан потеть, если мне хочется порхать, как он, среди синего цвета? Но это ясно. И что же получается? Я потею так, что меня больше нет, разве я человек, я — выжитое место, а вместо хлеба меня только беспрестанно колотят. Может быть, после этого вы скажете, что наверху не пустые газы?

Коц испуганно перекрестился.

— Мы хоть с вами и товарищи по несчастью, но я честный человек. Я попал сюда случайно. У меня не было работы. Она лежала в сторонке... Вы еврей, вы можете не верить в вашего бога, но я из Вюрцбурга. Я добрый католик. Я верю в милосердие господа нашего Иисуса Христа.

— Слушайте, товарищ Коц, я сейчас расскажу вам одну замечательную историю. Ведь я уже вижу, что, хотя вы размером царь-пушка, у вас нет никакой надстройки. Вы, вероятно, не так уже часто беседуете с умными людьми, и вам полезно послушать этот глубокий предрассудок.

У нас в Гомеле жил один сумасшедший старик. Он чинил старые матрацы, но редко кто приходил к нему, все говорили: «Это плохой еврей, он, наверное, путается с чертом, виданное ли это дело, чтобы в субботу ходить с зонтиком, а вместо молитв рассказывать мальчикам постыдные факты?» Словом, этот старик был большим оригиналом. От него я узнал уйму историй: о проскуровском хасиде, который заблудился, о табакерке царя Соломона и еще много других. Вот он-то и рассказал мне это удивительное приключение с вашим милосердным богом. И хоть вы из Вюрцбурга, а я всего-навсего из Гомеля, но, может быть, на этой позиции мы с вами сойдемся.

Мы сейчас далеко от Гомеля, но мы еще не в Риме, а Рим тоже город, и туда тоже можно попасть, и самое смешное, что там живут евреи, совсем как в Гомеле. Приключение это было в Риме, и не теперь, а давно, до войны, и даже, наверное, до позапрошлой войны. Впрочем, когда говорят о предрассудках, нечего залезать в календарь. В Риме жил римский папа. Это, кажется, ваш главный комиссар, и вы можете сейчас еще один раз перекреститься. Этот папа жил совсем как Валентин в романе Альфонса Кюроза. Смешно даже говорить о колбасе: с самого утра ему подавали разные бананы. Он ел в один день столько вкусных финтифлюшек, сколько мы с вами не съедим за всю нашу жизнь. А пил он больше, чем все паны ротмистры. Можете себе представить, какой у него был дворец: я даже думать об этом боюсь, потому что, наверное, там стояли возле каждой табуретки часовые с пулеметами. Он сидел во дворце и слушал красивые мотивы. Вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь, но он любил функции с разными поездками в лазурный Крым, ни-

чуть не хуже товарища Серебрякова. Я знаю, что папе полагается по уставу смотреть на хорошенькую девушку, как на богослужбное бревно. Что же, может быть, другие папы и обходятся без предпосылок, хоть Вилли в аптекарском магазине, тот хотел даже разбить драгоценное стекло. Если вы скажете мне, что сын того папы или, например, его недозволенный отец были вовсе не людьми, но только глубоким вздохом, я вам охотно поверю. А вот тот папа не зевал по сторонам. Он выбирал себе, понятно, отъявленных красавиц, потому что каждой женщине легко проснуться утром, а рядом — сам римский папа — это же не Ройтшванец и не Коц. У папы было много свободного времени, когда он не ел бананы и не совал разным дуракам свою старую туфлю, чтоб они ее целовали, а красавиц в Риме было тоже много, так что во дворце звучал один постоянный поцелуй.

В Риме была масленица. Какой это, между прочим, вкусный праздник! У нас в Гомеле телеграфист Захаров угостил меня на масленицу такими блинами, что я чуть было не уверовал во весь его опиум со сметаной. Но, конечно, в каждой стране люди празднуют праздники по-своему. В Риме они прямо-таки сходили с ума. Они бесplatно надевали на себя обезьяньи шкуры и пристегивали хвосты. Они гуляли с утра до ночи в бандитских масках. Посмотреть кругом — это даже не город, а всеобщая оперетка. Один говорил, что он слон, и нахально ворочал хоботом, другой уверял, что он настоящий герцог, который грызет свою герцогиню, и все прыгали, и все играли на трубах, и все танцевали танцы римских меньшинств. О женщинах я даже не стану вам говорить. Кто вас знает, что у вас внутри за механика: может быть, вы, как толстяк Вилли, подбираетесь про себя к стеклу? Я только скажу вам, что у женщин были полные витрины. Каких только бананов они не выставляли наружу! Поставим здесь тысячу точек...

Они прыгали, они пели, они целовались, но главный номер был еще впереди. Я уже сказал вам, что в Риме жили евреи. Это, конечно, бесстыдство: евреи смеют жить в одном городе с самим папой. Но что поделаешь? Например, муравьи — куда только они не залезают? На что уж строги паны ротмистры, и те напрасно волнуются. Раздавишь одного, сейчас же выскочит другой с автономным носом. Папа покричал, погрозил своей туфлей, а потом ему надоело: пусть живут. Нельзя же посадить в тюрьму

какой-нибудь перелетный насморк! Но так как папа любил масленицу, он придумал замечательный фокус: пусть евреи поставляют одного скакуна для всеобщего хохота. Пусть этот несчастный скакун обежит на масленицу три раза вокруг всего города, и пусть он бежит раздетый догола, а папа со своими слонами и дамами будут сидеть на золотых табуретках и заливаться неслыханным смехом.

Как люди говорят: одному масленица, а другому голое скакание. Евреи собрались на постную конференцию: кто же будет этой истерзанной лошастью? Евреи бывают разные: у одних даже на животе караты, а у других бесплатные слезы. Я вот лежу на одиннадцатой колючке, а какой-нибудь Ротшильд, наверное, сейчас лопает целую козу. В Риме тоже были и купцы первой гильдии, и кладбищенские нищие, которые за кусок хлеба плачут ведерными слезами над всякой предписанной могилой. Кто же побежит вокруг города? Конечно, не раввин — он же ученый, без него все станут глупыми; конечно, не римский Ротшильд — без него некому будет кормить нищих раз в год кухонными помоями.

Каждый еврей выкладывал один золотой, чтобы только не бегать, и бедняки тоже давали, потому что стоит продать субботние подсвечники, или сюртук, или даже подушку, лишь бы не умереть в голом виде перед сумасшедшими слонами. Но нашелся один несчастный портной, у которого не было ни сюртука, ни подсвечника, ни пуховой подушки, ни шелкового талеса. У него были только жена, шесть детей и подходящее горе, а все это нельзя выменять на один золотой. Его звали, скажем, Лейзером. Я думаю, что он был дедушкой моего дедушки, потому что вот от такой прискорбной тени и пошел наш род замечательных Ройтшванцев.

Настал час объявленных скачек. Папа перекрестился, опрокинул еще одну четверть вина и влез на свою табуретку, а вокруг него расселись священники, и красавицы с витринами, и просто раскрашенные нахалы. Это были богомольные люди, и сам папа с ними — значит, они повсюду расставили портреты вашего милосердного бога. Он был сделан из золота, из серебра, из бриллиантов на круглый миллион рублей, чтобы все знали, какие они щедрые и какой у них роскошный бог. Сидит папа, весь в бархате, а над ним огромный крест, прямо из ювелирно-

го магазина, и на кресте Христос, не то чтобы позолоченный или дутый, нет, из массивного золота совсем невиданной пробы. Очень хорошо! Но где же, между прочим, человеческий скакун? Папе уже не терпится, и он звонит в звоночек: «Приведите сюда эту лошадь, кажется, пора начинать».

Тогда привели Лейзера, а за ним пришли жена и все шестеро детей, и все они отчаянно кричали. Ведь даже маленькому ребенку ясно, что нельзя обежать вокруг Рима три раза без передышки, а стоит остановиться, как конюхи папы начнут тебя хлестать кнутами. Значит, это все равно что идти прямо на смерть. Лейзер стал снимать сто раз заплатанные брюки. У папы от смеха даже живот заболел, а другие бандиты теряли кто хобот, кто хвост: нельзя так сильно смеяться. Спектакль был довольно веселый, потому что такой несчастный в штанах уже анекдот, а если он без штанов, то это верное до упаду.

Папа смеялся, но не Лейзер. Лейзер обнимал свою жену и детей.

— Хорошо, я побегу и я умру, но кто вас завтра накормит? Может быть, раввин? Да, он будет кушать большого гуся, но вам он не даст даже косточек. Он вас угостит только ученым словом. Может быть, римский Ротшильд? Да, он скажет: «Я еврей, и вы евреи, и благословит вас бог, но я не могу сейчас с вами разговаривать, потому что я скушал столько гусей, кур и уток, что доктор будет мне ставить банки. Я — настоящий страдалец, а вы счастливичики, и вот вам на прощанье мой кукиш». Так скажет вам Ротшильд. И никто вас не накормит, потому что у бедных нет ничего, кроме голого сердца, а у богатых есть все, но у них нет сердца, и значит, вы тоже умрете. Я умру сегодня от этой беготни, а вы умрете через неделю или через месяц, и тоже от беготни, вы будете бегать по городу и просить крошку хлеба, и вы умрете.

Жена его, конечно, кричала. Она кричала, как зарезанная, на весь Рим:

— Ой, как же ты будешь бегать, Лейзер? Ты же не можешь бегать. Скажи им, что ты несчастный портной, а не лошадь. Ты же умрешь, честное слово, ты умрешь! И на кого ты меня оставляешь? И на кого ты оставляешь этих готовых сирот?

Папа ткнул себе в ухо вату, он даже глазом не повел. А первый конюх уже щелкал кнутом: «Начинай свое беганье».

— Прощай, моя жена! Прощайте, мои дети! Прощай, моя жизнь.

Лейзер сел на камень, обнял свои голые колени и еще раз вздохнул, так вздохнул, что ветер прошел по всему Риму: это он прощался с жизнью. А потом он, понятно, встал и побежал рысью, как старая кляча.

День был жаркий, как будто это не масленица, а полное лето, потому что в Риме ненормальный календарь, и там можно всегда гулять в парусиновой толстовке, бежать, конечно, куда жарче, чем сидеть. С Лейзера сразу покати́лся лошадиный пот. Он спотыкался, стонал и тряс бородой, а конюхи подстегивали его кнутами. Рим не Гомель. Рим — это скорей вроде Берлина; чтоб его обежать кругом, надо, может быть, два часа. Повсюду стояли конюхи. Они глядели, чтобы человеческая лошадь не отдыхла. А кроме конюхов стояли просто люди: кому же не интересно поглядеть на такие двуногие скачки? Стояли обезьяны, и тигры, и герцоги, и дамы, и все они бесплатно хохотали:

— Беги, старая кляча!..

И всем Лейзер кротко отвечал:

— Я уже бегу.

Так обежал он один раз вокруг Рима. Он уже еле подымал ноги, и все чаще хлестали его конюхи готовыми кнутами, так что по всему его телу текла кровь. Но ведь надо было обежать еще два раза, и он знал, что он не обежит. Когда он снова увидел несчастную жену, и шестерых детей, и золотую табуретку с римским папой, он потерял надежду, он остановился. А папа римский кричал:

— Беги же, старая кляча, не то тебя всего исхлещут мои готовые конюхи!

Разозлился тогда Лейзер.

— За что я, спрашивается, страдаю? За то, чтобы Ротшильд кушал утку? За то, чтобы этот римский папа обнимал своих нахальных красавиц? За то, чтобы его бриллиантовый бог сверкал своей золотой пробой?..

Но сто конюхов подбежали к нему с кнутами, и, взглянув на своих будущих сирот, Лейзер побежал дальше. Только отбежал он сто или двести шагов, как понял, что дальше бежать не может. Он упал на землю и стал ждать смерти. Тогда-то случился с ним голый предрассудок.

Вдруг он видит, что бежит по дороге голый еврей и что это не он, Лейзер, а другой еврей. Откуда такие фоку-

сы? Ведь все евреи откупились от беготни. Он разглядывает этого второго еврея и еще сильнее удивляется: «Он же похож на меня, тоже кожа и кости, и пот градом, и весь в крови, и так трясется борода, что сразу видно: крышка. Но глаза у него, кажется, не мои, и нос не того покроя. Значит, это не я, а другой еврей. Но кто же это может быть...» Лейзер знал всех евреев Рима. Это не старьевщик Элиа и не сапожник Натан. Это, наверное, чужой еврей. И Лейзер его спрашивает:

— Откуда вы взялись? У вас знакомое лицо, как будто я вас уже видел, но я вас не мог видеть, я никогда не выезжал из Рима. Может быть, я уже умер, и мне снится? Как вас зовут? И потом, почему вы бегаєте, если я должен бегать?

Тогда второй еврей говорит Лейзеру:

— Зовут меня Игошуа, и вы меня не можете знать, потому что я уже давно умер, а вы еще живы. Но вам кажется, что вы меня знаете, — вы, наверное, видели мои портреты. Они меня называют самыми смешными словами, но я сейчас скажу вам, кто я: я — бедный еврей. Вы, правда, портной, а я был плотником, но мы пойдем друг друга. Я хотел, чтобы на земле была полная правда. Какой бедняк не хочет этого? Я же видел, что раввин говорит умные слова, что Ротшильд кушает утку и что нет на земле ни справедливости, ни любви, ни самого простого счастья. И я был с бедными против богатых. Я видел, что у одних людей пулеметы, а у других только голая грудь, и что железной пуле ничего не стоит проткнуть сердце, и я был со слабым и против сильных. Я любил, Лейзер, когда солнце греет, и смеются дети, и всем хорошо, все пьют вино, все друг другу улыбаются, горят субботние свечи, а на столе румяный хлеб. Но какой нищий не любит этого? Сначала меня, конечно, убили, а теперь они не дают мне спокойно лежать в земле. Они грабят бедняков и называют мое несчастное имя, чтоб я ворочался в гробу. Они сажают какого-нибудь беззащитного человека в глубокую тюрьму, и они поют ему песни о моем столетнем горе, а потом они отрезают ему голову, чтоб я снова подпрыгнул в могиле. Они выгоняют глупых людей, чтобы одни люди убивали других, и они несут на флагах мои скорбные портреты, и я в ужасе приподнимаюсь. Как только не смеются они над моим мертвым прахом! Они делают мои портреты из золота и из бриллиантов, и они выставляют их повсюду. Они ставят их перед голодными деть-

ми и перед самой виселицей. А я ведь так любил румяный хлеб на столе бедняка! Пожалейте меня, портной Лейзер! Вы умрете, и вас закопают, и вас оставят в покое, а я должен бегать по всему миру, как в лихорадке. Я лежу в земле, и вдруг я вижу этого римского папу. Он хохочет с раскрашенными бандитами, он придумывает вашу веселую смерть, и что же — над ним висит мой золотой портрет, и я вижу это сквозь могильную землю. Тогда я прибегаю сюда, и вот вы должны умереть, потому что я мечтал о полном счастье. Горе мне! Горе! Они говорят, что я «всемогущий». Вы видели бедного еврея, который бы мог все? Да если бы я мог даже половину всего, разве я не крикнул бы им: «Довольно!» Разве Ротшильд кушал бы тогда всех уток, разве папа сидел бы на золотой табуретке, и разве вы скакали бы вокруг Рима? Я могу только не находить себе покоя. Я могу только день и ночь бегать кровавой тенью, как бегали сегодня вы.

Тогда Лейзер приподнялся и обнял второго еврея.

— Мне жаль вас, плотник Иегошуа, я ведь теперь знаю, что такое бегать. Но я вам скажу одно: сегодня вы можете отдохнуть, сегодня вы можете спокойно лежать в своей могиле. Зачем же бегать вдвоем? Сегодня я бегую за себя и за вас.

Но мертвый еврей ответил Лейзеру:

— Нет, вы еще можете жить, у вас шестеро детей — это не шутка. Мы их, кажется, перехитрим. На нос они не будут глядеть, а издали мы похожи друг на друга. Так вы лежите себе в этой глубокой яме, а я пока что два раза обегу вокруг Рима. Вы со мной не спорьте; ведь мне все равно придется бегать, если не здесь, так в другом городе, потому что они, наверное, сейчас кого-нибудь убивают и говорят мое имя, чтоб я не мог спокойно лежать.

Сказав это, он побежал вокруг города, и его хлестали конюхи, и смеялись над ним все бесстыдные слоны. А когда он добежал до папы, то папа уже лежал на пуховых подушках от неприличного хохота, и папа кричал:

— Эй, старая кляча, шевели твоими копытами! Я тебе покажу, что значит римский папа! Это же полный представитель милосердного Христа, и получай скорее сто ударов кнутом, чтоб ты знал вперед, как это — распинать нашего бога!

Вот вам и все приключение, дорогой товарищ Коц. Вы можете, конечно, снова перекреститься, раз у вас здоровая рука, а в голове отсутствие. Подумайте только — вы

лежите рядом с Ройтшванецом! Может быть, это Ройтшванец распял вашего всемогущего бога?..

Коц разозлился:

— Ваша история — вздор. И я вам не советую повторять такие глупости. Вас, чего доброго, могут привлечь за богохульство.

— Нашли чем пугать! Не все ли мне равно, привлекают меня по трем статьям или по четырем? Это пустая статистика. А вот приключения с Лейзером вы вообще не поняли. Руками это нельзя понять. Я уже сказал вам, что у вас, наверное, в голове дырка. Как будто я не видел, что, пока я рассказывал, вы все время крестились! Я теперь спрошу вас, хоть вы и дыра из десяти пудов, кому же вы кланяетесь в вашем Вюрцбурге? Если бедному еврею, так он вовсе этого не хочет, а если всемогущему богу, так почему же вы здесь из-за кусочка колбасы?.. Знаете, Коц, мы ссоримся, и мы помиримся. Мы сейчас с вами хорошие люди, потому что мы два бедняка в позорной тюрьме. Но ведь завтра вы можете стать римским папой, а я могу стать еще одним Ротшильдом. Тогда мы моментально забудем все горячие слезы и станем просто-напросто текущими свиньями. Пока бедный плотник мечтал о правде, он был таким высоким, как нарочный бог, но вот его объявили богом в золотой раме. И что же, он стал обыкновенной мебелью. Ротшильд мог в два счета распять какого-то нищего, который говорил, что он любит не богатых, а бедных. Это вполне понятно, и Ройтшванец здесь ни при чем. Кажется, каждый день распинают сто ройтшванцев, и никто против этого не возражает. А детский смех? А румяный хлеб на столе бедняка? Но это же смешные фантазии. Молчи, глупый Ройтшванец! Нечего философствовать! Самое большое, что от тебя требуется, — это скакать без штанов.



тсидев положенное время в тюрьме, Лазик вновь начал странствовать. В Магдебурге он продавал газеты, в Штутгарте мыл оконные стекла, а добравшись до Майнца, попал в колбасный магазин Отто Вормса. Там мирно отпускал он товар, пока не был уличен в наглой краже.

Как-то, увидев на прилавке еще теплый окорок, он схватил нож, отрезал большой кусище и проглотил его столь быстро, что хозяин не успел даже опомниться. Лазику пришлось спешно оставить Майнц, так как колбасник поклялся, что он проучит негодяя.

Во Франкфурт Лазик приехал с тремя марками. Первым делом он решил побриться, дабы застраховать себя от философических мыслей. Каково же было его изумление, когда молодой парикмахер спросил:

— Простите, господин доктор, как вас побрить — обыкновенно или согласно Моисееву закону?

Лазик только развел руками.

— Согласно Моисееву закону, кажется, вообще нельзя бриться, так что эта религия не для вашей кисточки. Но если я прихожу к вам, значит, я плюю на эти смехотворные параграфы. Может быть, вы боитесь, что я вам не заплачу? Смотрите, вот самые настоящие марки.

— Вы напрасно обижаетесь, господин доктор. У нас во Франкфурте можно бриться, не нарушая закона Моисея. Ведь евреям запрещено только соскрести с себя волосы лезвием, а мы бреем почтенных клиентов без преступной бритвы. Вот, поглядите, — это патентованное средство. В пять минут я могу уничтожить все волосы, не раздражая ни кожи, ни религиозных чувств. Это изобретение доктора Клемке, и он заработал на нем...

Но Лазик больше не слушал. Пользуясь тем, что парикмахер еще не успел его побрить, он сосредоточенно думал. Наконец он сказал:

— Меня вы все-таки побрите без фокусов; только наточите-ка бритву, потому что у меня кожа гораздо чувствительней религиозных чувств. Но вот вам марка на чай, и скажите мне адрес какого-нибудь почтенного доктора, которого вы бреете этой вонючей находкой.

— Кого же вам рекомендовать? Может быть, господина Шенкензона? Это самый уважаемый коммерсант. Только он уже давно не брился. Он, кажется, болен...

— Болен? Это мне как раз нравится. Ну, вы кончили уже меня скрести вашей тупицей? Так дайте мне скорее адрес господина Шенкензона...

Надо признаться, что сердце Лазика взволнованно забилося, когда он оглядел роскошный особняк, в котором жил господин Шенкензон. Он позвонил. Дверь открыла горничная.

— Ну что, господин Шенкензон все еще лежит? Он еще не умер? Хорошо. Так я пойду прямо к нему. Нельзя? Как это нельзя? Я же не нахал с улицы. Впрочем, о чем мне с вами разговаривать? Позовите сюда его жену, или мать, или дочь, или хотя бы какую-нибудь тетю.

В переднюю вышла заплаканная женщина.

— Вы, наверное, госпожа Шенкензон? Ну как, слава богу, муж? Я хочу скорее пройти к нему. Кто я такой? Я гомельский цадик, и я приехал во Франкфурт, и я узнал, что еврей болен, и я пришел, конечно, навестить еврея. Я же знаю, что ваш муж хороший еврей, который соблюдает все законы.

Госпожа Шенкензон колебалась. Но Лазик настаивал:

— Когда я был у знаменитого реб Йоше... Вы же знаете двинского цадика? Так вот, мы с ним пошли к одному больному. Он лежал, как ваш муж, и наверняка умирал. Но реб Йоше увидел, что у него внутри приросла одна кость к другой, и он приказал костям повиноваться божьему порядку, и все кости расселись по своим местам, так что больной сразу попросил себе целую курицу. Это же очень просто. У человека 248 суставов и 365 костей, а всего в нем 613 штучек, ровно столько, сколько добрых дел. Вы смотрите на меня — как я, такой молодой, уже все знаю? Но я не такой молодой, мне уже за пятьдесят, господь мне дает два года за один. Он же не только умеет наказывать, он умеет и награждать. Я вас уверяю, что ваш муж завтра или послезавтра вскочит, как попрыгунчик.

Госпожа Шенкензон залилась слезами.

— Все господа доктора говорят, что больше не на что надеяться... Я заказала в синагогах, чтобы они читали псалмы на букву «Вульф»... Его ведь зовут Вульфом. Но он все слабеет и слабеет.

Лазик важно сказал:

— Вы женщина, и вам бог простит эти глупые разговоры. Доктора видят только кожу. Внутри они не видят. Вот я сейчас погляжу на него, и я скажу вам все.

Женщина провела Лазика в комнату больного. Среди пышной мебели, золоченых люстр, картин, ковров, на огромной резной кровати лежал крохотный старичок. Он уже был без сознания. Лазик спросил:

— А сколько ему точных лет?

— Восемьдесят четыре.

— Я так и понял сразу. Ну что же, я вижу все, и я говорю вам: у больного недостает внутри одного сустава.

Он, наверное, забыл сделать одно доброе дело. Он, конечно, молился, и соблюдал иом-кипур, и жертвовал на синагогу. Но я думаю, что он еще не накормил никогда ни одного бедного цадика хорошим обедом. А так как он сейчас не может сбегать на кухню, так вы займитесь этим, и поскорей, вместо напрасных слез. Тогда завтра или послезавтра он будет попрыгунчик.

В соседней комнате, куда провели Лазика, находились все родственники больного. Одни из них громко плакали, другие тихонько обсуждали котировку гамбургских пароходных акций, которые скупал господин Шенкензон. Сестра больного, узнав, что Лазик — духовный раввин не то из Галиции, не то из Литвы, обрадовалась.

— Во Франкфурте ведь так трудно найти настоящего раввина, который знает все правила! А когда человек болен, пора подумать о боге.

— Правила я знаю, как свои пальцы. Мне было тринадцать лет, когда десять самых замечательных раввинов мне уже выдали «смихе», и я стал полноправным раввином. А потом десять лет я был у знаменитого цадика в Виннице. Как меня зовут? Рэби Лезер.

— Скажите нам, рэби Лезер, как вы думаете, может быть, переменить больному имя? Здешний раввин сказал, что это может помочь. Если уже в Книге судеб написано, что Вульф должен умереть, то ведь это относится только к Вульфу?

— Здешний раввин знает кое-что. Он слышал, может быть, одним ухом. Но я сейчас все устрою на месте. Мы таки перехитрим этого летающего ангела. Он — Вульф? Конечно. Он уже — Мендель. И если там написано, что завтра должен умереть Вульф, то ваш дорогой Мендель будет завтра кушать курицу, потому что этот летун будет искать Вульфа. Вы видите, как это просто? Здешний раввин прозевал бы два часа, и он бы еще взял с вас уйму марок. Я здесь останусь, и, если ему ночью не станет лучше, я его сделаю из Менделя Хаимом, и все это по маленькому тарифу.

Выспавшись, Лазик весело спросил:

— Ну, как поживает наш дорогой Мендель?

— Он умер.

— Умер? Я так и думал, что он умрет. Я только не хотел огорчать вас за полчаса до факта. Плакать человек всегда успеет. Но я сразу увидел, что в Майнце одна еврейка не могла родить, потому что у бога нет свободной

души под рукой. Я тогда понял: бог уже тянется за душой вашего, скажем, Менделя. Ну, что ж поделаешь! Будем его хоронить.

Здесь-то Лазик было где разгуляться. Ведь еврея надо похоронить по всем правилам, чтоб он мог легко встать, когда прогремит труба Мессии. Этот рэби Лезер знал порядки!

— Как быть с землей? — плакала вдова. — Ведь ему, кажется, нужно положить под голову палестинскую землю, тогда его не тронут черви.

Лазик успокоил ее:

— Через полчаса я принесу вам палестинскую землю. Это земля высший сорт. Она прямо с гроба Рахили, и ее мне подарил ровенский цадик. Я ее берег для себя. Но теперь я еду в Палестину, чтоб умереть там. Когда прогремит труба, я буду уже на месте, без новой беготни. Так что я вам уступлю эту землю. А о цене мы поговорим после восьми печальных дней. Я, кажется, цадик, а не разбойник.

Лазик вышел на улицу. Дойдя до парка, он быстро набрал в платок горсть земли и расчувствовался.

— Где умрет Ройтшванец? На какую помойку выкинут его постыдный труп?..

Родственники хотели положить вокруг усопшего венки, но набожная сестра запротестовала:

— Это запрещено. Не правда ли, рэби Лезер? Это может ему повредить.

— Конечно, венки запрещены. Но ведь нужно класть солому. Что такое солома? Увявшие цветы. А когда цветок сорван, он уже завял, так что я, строжайший цадик, разрешаю вам класть столько венков, сколько вам только захочется.

Один из сыновей покойного, человек крайне расчетливый, волновался:

— А как быть с костюмом? Они говорят, что его нужно разорвать на куски от печали.

— Совсем понятно: вы наденете мой костюм, хоть он вам будет чуточку мал, но при такой печали не до франтовства, и вы его раздерете — он ведь уже разорван, скажем, на других похоронах. А свой вы дадите мне, и это будет в счет необходимых «кадишей».

Все дети и внуки покойного возмутились, когда им предложили есть крутые яйца. Лазик и здесь нашелся.

— Достаточно с вас и так несчастий! Крутые яйца

сьем я, а вы будете кушать куриный бульон, потому что глуховский цадик уже разъяснил, что из яйца выходит курица, а из курицы выходит бульон.

Мудрость и находчивость рэби Лезера потрясали всех франкфуртских евреев, которые приходили к Шенкензонам, чтобы высказать свое соболезнование. Председатель еврейской общины, господин Мойзер, известный биржевик и филантроп, узнав о замене крутых яиц гигиеническим бульоном, восторженно воскликнул:

— Вот что значит человек, который день и ночь изучает Тору! В его руках суровый закон становится легким, как верблюжий пух. Скажите, рэби Лезер, если ваше присутствие всегда приносило евреям такую радость, почему же они не удержали вас на вашей родине?

— Я, кажется, сказал, что еду умирать в Палестину. Если вы будете задавать мне такие вопросы, я уеду завтра. Между прочим, я умею приносить полное наоборот. В Гомеле тоже был один еврей, который приставал ко мне с нахальными вопросами. Он вдруг начинал устраивать анкеты: «Интересно знать, откуда вы приехали, и что у вас в кармане, и где ваш диплом?» Так что же с ним стало? Я в синагоге вышел благословлять народ. Я ведь благородный потомок. Мы, Ройтшванецы, — «Каганиты», и я поднял руку как самый главный «Каганит». Тогда, конечно, все закрыли глаза, потому что нельзя глядеть на «Каганита», который благословляет народ. Но тот нахал решил продолжать анкету. Он поглядел на меня. Может быть, он хотел проверить, хорошо ли я держу пальцы? Смешно! Я ведь знаю мои пальцы наизусть, как Талмуд. И что же стало с этим, скажем, любопытным евреем? Он через десять секунд ослеп.

Рассказ Лазика произвел на всех сильное впечатление. Правда, господин Мойзер морали его не уловил, так как, услышав, что гомельский цадик — «Каганит», он стал думать об одном: как бы удержать его во Франкфурте? Он начал издалика:

— Вы еще молоды, и господь вам подарит все девяносто лет, если не все сто двадцать, так что я не понимаю, зачем вам спешить в Палестину? Отдохните перед далекой дорогой. Вы найдете здесь почет и спокойствие. Вы будете молиться в нашей синагоге. У нас, право же, замечательная синагога. Я пожертвовал на нее хорошенькие деньги, и вы увидите, какие там двери, и какие семисвечники, и какой свиток. Увы, только одного недостает ей —

у нас нет «Каганита». Но ведь если вы будете с нами молиться, вы не откажетесь благословить нас. Верьте мне, почтенный рэби Лезер, здесь не будет таких безбожников, как на вашей родине. У нас никто не захочет бесплатно ослепнуть. А с другой стороны, чтобы доехать до святой земли, мало одной веры. Там египетские фунты, и я знаю котировку... Я вас прошу: примите наше предложение.

Лазик, для приличия с минуту помолчав, ответил:

— Я вас ужасно жалею, и как хороший еврей я уже не еду в Палестину. Теперь начинайте меня обеспечивать.

На следующий день в комнату Лазика, приниженно кланяясь, вошел некто Шварцберг.

— Я хочу просить вас, уважаемый рэби, чтобы вы взяли покровительство над моим кошерным рестораном. Тогда я смогу написать на меню «под наблюдением господина раввина», а без этого ко мне не идет ни один порядочный еврей. Я уже слышал от господина Мойзера, что вы умеете примирить суровый закон с требованиями нашего времени. Я не предлагаю вам никакого денежного вознаграждения, нет, вы будете, между нами говоря, совладельцем, и я предоставляю вам двадцать процентов чистой прибыли.

Лазик охотно согласился. Он только добавил:

— И каждый день три полных обеда.

Осмелев после столь легкой удачи, Шварцберг сразу приступил к делу.

— Вы же знаете, рэби, что мы соблюдаем себя в чистоте, но мы немножко портим мясо. По закону его нужно держать один час в соли. Легко себе представить, какой это получается обезвкусенный ростбиф или даже антрекот. А кого клиенты ругают? Не Моисея, но ресторатора. Тот же господин Мойзер, он хочет, чтобы все было по правилам, и он хочет кушать сочный ростбиф. Вот я и осмеливаюсь спросить вас, нельзя ли солить это мясо не один час, а только полчаса? Тогда у меня будут бифштексы гораздо вкуснее, чем у Розена, и я сразу забью всех конкурентов.

— Что такое часы? Когда человек голоден, а перед ним антрекот, каждая минута является часом. Так сказал мудрый цадик из Балты. Но перед обедом ведь все голодны, и я разрешаю вам в точном согласии с законом солить мясо ровно одну минуту. Только не солите его десять минут, а то вы мне дадите на обед вместо бифштекса какой-нибудь вавилонский плач.

Шварцберг ласково подмигнул Лазику. На следующее утро он снова пришел за разъяснениями.

— Я вам скажу прямо, многопочтенный рэби, что клиенты не любят ни кокосового масла, ни сала. Я убежден, что этот безбожник Розен жарит шницель на сливочном масле. Я вас спрашиваю, что же мне делать, богобоязненному Шварцбергу?

— В законе сказано: «Не ешь теленка в молоке своей матери». Масло делается из молока. А откуда вы знаете, какая корова — мать этого теленка или даже совершеннолетнего вола? Значит, нельзя жарить мясо на масле.

Шварцберг сокрушенно вздохнул.

— Но, обождите, вздохнуть еще рано! Вы же можете подавать свинину. Я, например, очень люблю свиные котлеты, а свинья не может быть дочкой коровы, и жарьте на здоровье свиные котлеты в коровьем масле с хрустящей картошкой. Это по закону, и вы увидите, что когда господин Мойзер скушает свиную котлету, он взрвет от полного восторга: «Какая у вас сочная телятина!»

— Но ведь по закону свинину вообще...

Лазик прервал его:

— Если, по закону, у свиньи слишком мало пальцев на ноге, чтоб ее кушать, то вы их не считали. Зачем вам заниматься свиными пальцами? И потом, когда вы говорите с ученым раввином, вы можете не философствовать. Точка.

Тогда Шварцберг, не выдержав, всплакнул от умиления.

— Бог таки наградил меня за то, что я дал тому нищему сорок пфеннигов!.. Вы же не наблюдательный раввин, но одно сплошное благословение.

Неделю спустя Лазик вновь удостоился лестных похвал. Был канун поста «Иом-Кипура», и господин Мойзер грустно вздыхал: как же он будет целые сутки голодать? Он пошел за советом к рэби Лезеру.

— У меня ведь подагра. И потом, я не привык... Я могу умереть. Но по закону я не могу просить вас, чтобы вы меня освободили от поста. Тогда в Книгу судеб мне впишут какое-нибудь несчастье, и все мои акции сразу упадут. Так уже случилось с Вайсманом.

Лазик важно сказал:

— Сейчас мы это устроим. Нужны, конечно, три раввина, но такой цадик, как я, легко сойду за троих. На деньте ваш благородный цилиндр и вздыхайте. Я прика-

зываю вам завтра кушать все. Отвечайте мне: «Я не хочу нарушить «Иом-Кипур»». Вот так... И вздыхайте. И я вам еще раз приказываю именем бога и по всему строжайшему закону завтра кушать. Потому что пост грозит вашему слабому сердцу безусловным концом. Вот и все. Теперь вы можете улыбаться. Завтра вы будете кушать курицу, и в Книге судеб запишут, чтобы ваши акции поднялись по последний этаж.

Господин Мойзер, очарованный, спросил:

— А нельзя ли устроить то же самое моему брату? У него нет подагры. Но что-нибудь у него есть. У него, например, полип в носу. Он тоже может умереть от истощения.

— В два счета...

Лазик освободил от поста не только брата-господина Мойзера, но еще свыше тридцати франкфуртских евреев. Он ходил из дома в дом и за скромное вознаграждение примирял еврейские желудки с еврейской совестью. После этого авторитет рэби Лезера окончательно укрепился. Лазик благословлял в синагоге молящихся. Он не помнил толком, как это делается, но евреи честно закрывали глаза, и он мог хоть танцевать фокстрот. Он давал советы о семейной жизни. Он ел в ресторане Шварцберга сочные котлеты. Словом, он жил припеваючи.

Как-то, сытно пообедав, шел он вместе с господином Мойзером по одной из узеньких улиц старого Франкфурта. Господин Мойзер расспрашивал Лазика, нет ли в законе какого-нибудь разногласия касательно зонтиков.

— Я не понимаю, как это нельзя носить в субботу зонтика? Ведь дождь бывает и в субботу. Я иду в синагогу, и я мокну. Говорили ли вы об этом, например, с двинским цадиком?

— Еще бы, и мы с ним нашли замечательный выход. Когда идет дождь, начинается опасность. Дождь ничуть не лучше пулеметной пули, потому что от дождя можно простудиться и умереть. По закону можно, если на вас нападают, защищаться, тогда можно взять в субботу даже палку, а дождь на вас нападает, и вы защищаетесь... В учениях рэби...

Лазик не договорил: его схватил за руку какой-то огромный человек.

— Наконец-то я на тебя напал, мерзавец! Нахалпал здесь и разоделся! Я тебе покажу, как окорок красть!..

Господин Мойзер попробовал вступить за Лазика:

— Вы ошиблись. Это уважаемое всеми лицо. Это наш раввин.

Увы, Лазик не сомневался: перед ним стоял Отто Вормс. Ну да, от Майнца до Франкфурта рукой подать!.. Но он настолько вошел в свою новую роль, что начал кричать на разъяренного колбасника:

— Вы слышите, что я — раввин? Я не только раввин, я — «Каганит». Вы знаете, что такое «Каганит»? Это самый благородный потомок. Я не имею даже права ходить на кладбище, чтобы не огорчаться, а вы ко мне лезете с вашим нечистым окошком...

Отто Вормс саркастически расхохотался:

— Ах, теперь он стал нечистым? А когда ты его жрал у меня на глазах, он, что же, был чистеньким?.. Скотина! Простите, господин, я вас не знаю, но вы порядочный человек. Как же вы с этим негодяем знаете? Я его из жалости подобрал, а он меня разорить хотел. Я уж давно заметил, что он налегает тихонько на ливерную колбасу. Но у меня кроткое сердце, я молчал. Вот когда он прямо передо мной отхватил кусок ветчины, здесь я не выдержал. Тогда он улизнул, но теперь я уж отлуплю его этой дубинкой.

Лазик больше не отнекивался. Он только, виновато улыбаясь, сказал:

— Вы меня плохо кормили, господин Вормс, а ветчина была теплая, и каждый поймет, что я не мог удержаться.

Так как дело происходило не в субботу, у господина Мойзера был зонтик, и он опередил колбасника. Впрочем, Отто Вормс тоже не мешкал. Они били Лазика — один зонтиком, другой палкой, один слева, другой справа, пока тот не упал на мостовую.



Левка-парикмахер когда-то любил петь, залезая в ухо мыльной кисточкой: «Уй Париж, уй Париж! Это вам не голый шиш», и, очутившись на площади Опера, Лазик вспомнил его песенку.

«Хорошо, я стою на этом углу. Но как мне перейти через улицу? Это же внезапное самоубийство. А рано или

поздно мне придется перейти, нельзя ведь жить на постоянном углу. Один автомобиль, десять автомобилей, сто автомобилей, а где же проход для маленького Ройтшванца?..»

Лазик попробовал было спустить ногу с тротуара на мостовую, но тотчас же отдернул ее, как будто попал в кипяток. «Это гораздо хуже, чем бешеная арабка!»

Вдруг он увидел полицейского, на рукаве которого было написано «говорит по-немецки». Лазик робко подошел к нему.

— Господин ученый секретарь! Вам не кажется, что эти коляски немного задерживают движение? Мне, например, нужно почему-нибудь перейти на ту сторону, но я еще дорожу моей предпоследней жизнью.

— Обождите. Когда я махну палочкой, вспыхнут красные диски, раздастся сигнал. Тогда вы сможете перейти.

Лазик стал ждать. Действительно, через несколько минут все обещанное совершилось. Автомобили замерли как вкопанные. Площадь в мгновение опустела, и пешеходы перепуганным стадом понеслись с одного тротуара на другой. Лазику все это очень понравилось. Он несколько раз повторил увлекательную переправу, а потом, окончательно растроганный, подошел к полицейскому.

— Можно пощупать вашу волшебную палочку? Нельзя? А вы, кстати, не Мойсей ли парижского закона? Потому что такие штуки выкидывал Мойсей, когда евреи переходили через море. Что? Я должен идти дальше? Хорошо, я пойду, но кивните еще раз этой палочкой, чтобы волны расступились передо мной.

Лазик задумался. Что же дальше? Конечно, здесь ученые секретари, и арабки, и бананы, и такая научная башня, что можно рассеять сразу весь опиум, она ведь до самого неба, и наверху, уже доказано, не какой-нибудь бог, а только телефонная трубка без проволоки. Но что здесь делать одинокому Ройтшванцу? Начнем с того, что здесь совсем другой разговор. Из всего гомельского обращения они понимают только одно «мерси», но ведь надо еще иметь за что благодарить.

Размышляя так, Лазик вдруг услышал русскую речь. Он не стал терять времени.

— Приятно среди арабок услышать этот могучий язык. Вы, может быть, тоже из Гомеля?

Рослый мужчина подозрительно осмотрел Лазика.

— Отстаньте! Не на такого напали!

— Ага, я уже понял. Вы не из Гомеля, а наоборот. Но почему же сердиться? Я ведь московская душа-рубашка, и я еще не знаю здешних церемоний. Хотите, я вам сошью замечательные толстовки, так что вы будете в них, как два загробных графа? Хорошо, это не подходит. Точка. О кроликах я даже не заикаюсь. Я могу, между прочим, исполнить преступный фокстрот, раз здесь такая арабская жизнь. Почему вы кричите? Я не глухонемой. И напрасно вы думаете, что стоит вам побежать вприпрыжку, как я останусь здесь умирать; я вас все равно догоню. Что-то, а прыгать я умею. Вы спрашиваете меня, что я хочу? Очень просто — жить. Это, как говорили у нас на курсах политграмоты, «программа-максимум», а пока что иностранные кредиты, то есть парижские пятьдесят копеек на порцию пошлых битков. При чем тут политграмота? При всем. Вы здесь уже база, а я хочу быть вашей надстройкой...

— Идите вы к вашим большевикам!..

— Этого я как раз не могу, потому что я уже оттуда. Я служил у Бориса Соломоновича, и когда за ним пришли, мне пришлось вылететь залпом. Вы думаете, я не был кандидатом? Смешно! Я мог бы сделаться роскошным комиссаром, но в дело вмешалась нога товарища Серебрякова, и меня мигом вычистили.

Русские теперь не убежали от Лазика. Нет, они даже замедлили шаги. Они начали расспрашивать его: давно ли он из России, долго ли пробыл в партии, какие должности занимал, кого там видел? Лазик врал наугад.

— Черт их знает, куда они загигают? Они или родственники Пуке, или что-нибудь посполитое.

Когда Лазик сказал, что он с товарищем Серебряковым на «ты», что он перевозил через границу пулеметные ленты, что в Москве его выбрали в ученые секретари Коммунистической академии, но что все сорвалось от неожиданных чувств, так как он, Лазик, посидел, подумал, а потом ни с того ни с сего, ворвавшись ночью в Кремль, оскорбил там тысячу флагов, рослый мужчина шепнул своему спутнику:

— Этот болтливый жидок может пригодиться...

Почувствовав перемену, Лазик осмелел.

— Ну да, я и с Троцким говорил по душам об этой китайской головоломке... Но теперь я хочу вас спросить о другом: когда здесь, главным образом, обедают? Я обедал

в последний раз ровно четыре дня тому назад. После этого были только прыжки через границу и новый горизонт. Кстати, из этого кафе идет откровенный запах. Знаете, чем это пахнет? Вы думаете, кофе или позорным лимонадом? Нет, я держу дерзкое пари, что это пахнет телячьей печенкой в сметане и притом с луком.

— Слушайте, если вы действительно кающийся большевик, мы вам поможем восстановить ваше доброе имя.

— Я так умею каяться, как никто. Я уже начал каяться два года тому назад из-за пфейферовских брюк, и с тех пор я только и делаю, что каюсь. Насчет доброго имени вы тоже не беспокойтесь: в крайнем случае, можно обрезать «Ройт», если здесь другая красочная мода. Я буду просто «Шванец», как таковой, без всякой партийной окраски.

— Вы сделаете публичный доклад. Это очень просто. Мы вам наметим, о чем говорить. А сбор поступит в вашу пользу. Но раньше всего мы вас ознакомим с нашим национальным движением.

Здесь Лазик стал суровым и непримиримым.

— Нет, прежде всего вы ознакомите меня с этим запахом. Мы зайдем в кафе и там устроим ваше национальное передвижение.

— Что же, можно зайти выпить аперитив. Гарсон, три «пикона»!

Лазик взволновался.

— Пожалуйста, без арабских штучек! Вы хотите, чтобы я читал громовой реферат, а даете мне какие-то мокрые анекдоты.

Игнат Александрович Благоверов, рослый мужчина и редактор национального органа «Русский Набат», снисходительно улыбнулся.

— Это здесь все пьют. Это — для аппетита.

Тогда Лазик вскочил, он начал неистово топтать ногами.

— Для аппетита? Это для уголовного преступления! Если я и так готов зарезать живого человека, после этого я его наверное зарежу. Дайте мне моментально печенку в сметане или хотя бы большую булку, не то я выпью эту провокацию, и тогда я зарежу весь Париж!

Съев бутерброд, Лазик деликатно заметил:

— Вам придется разориться, потому что аппетит продолжается. Если бы у меня не было аппетита, разве я

стал бы с вами разговаривать? Я бы лучше переходил с утра до ночи ту замечательную площадь. Сосиски? Очень хорошо. Теперь вы уже можете передвигаться.

Игнат Александрович многозначительно откашлялся.

— Прежде всего, пусть вас не смущает... Как бы это сказать?.. Ну, происхождение. В нашей организации уже состоит один еврей. Когда он увидел, что из этих «свобод» вышло, он первый пришел к нам с повинной. Он рыдал: «Я дрожу, как Иуда. Евреи продали нашу матушку-Россию. Где мощи святителя Питирима? Где звон сорока сороков?...» Мы его простили. Он в нашей газете теперь работает по сбору объявлений. Так что вы не горюйте. Мы к вам отнесемся как к счастливому исключению. Наше мощное движение возглавляет его императорское...

Здесь Лазик прервал Игната Александровича:

— Надо обязательно подобрать живот или достаточно мысленно? Потому что после всех сосисок это мне не так-то легко...

Но Игнат Александрович не слушал его. С пафосом повторил он последнюю статью «Русского Набата».

— «Трепещите же, милюковские палачи в застенках! С нами весь цивилизованный мир и сорок веков русской истории. Романовы создали Россию, и вся наша православная страна, притаив дыхание, ждет державной поступи августейшего хозяина». Так или не так?

— Конечно, так. Пфейфер, тот не может дождаться. Целый день глядит в окно. И насчет дыхания вы тоже удивительно подметили. Кто же станет там нахально дышать, когда здесь уже раздастся эта августейшая поступь?

Выпив еще два «пикона», Игнат Александрович потрепал Лазика по плечу:

— Приятный жидок! Хорошо, что ты сразу попал к нам, а не в «Свободный Голос». Там ведь одни чекисты сидят. Жид жиды погоняет. И платят пяточок за строку. А у нас тебе лафа будет. Завтра же пушу интервью. Василий Андреевич, набросайте. Крупным шрифтом: «Покаяние чекиста». Начните так: «Вчера в помещении редакции, обливаясь слезами, ворвался палач...» Как вас?.. «палач Шванец. Он кричал: «Я прошу прощения у невинных вдов и сирот. Вся подневольная Русь слышит удар вашего «Набата». В Каргополе выведенная из терпения толпа буквально растерзала еврейского комиссара». Ну, а даль-

ше вы сами... Не забудьте только про «Свободный Голос»: «В Пензе все возмущены провокацией Милюкова». Влейте вовсю! Слушай, жидок, я тебе завтра и за интервью заплачу. Двадцать франков дам, честное слово!

Здесь молчаливый компаньон Игната Александровича вдруг заговорил:

— Мне, Игнат Александрович, второй месяц жалованья не платят. Зима на носу, а я еще в летнем пальто щеголяю...

— Об этом, брат, после поговорим. Сейчас у нас государственные дела. Так вот что, Шванец, ты за доклад сотню-другую получишь, но это ведь нечто единовременное. Сам понимаешь, нельзя каждый день доклады устраивать. А ты можешь хорошую денгу заработать. У тебя связи там, а нам повсюду нужны верные люди. Займись-ка организацией.

— Что же, это я могу. Я уже размножал в Туле мертвых кроликов, и я из вас сделаю самый замечательный урожай. Скажем, вас сейчас двое, не считая этой поступи. Остается взять карандашик. К осени будущего года вас может быть 612 тысяч 438 голов. Это же дважды два и месячное жалованье.

После четвертого «пикона» Игнат Александрович отяжелел. Растроганный, он бормотал:

— Молодчина ты, Шванец! Хоть жид, а любишь матушку-Россию. Я тебя выведу в люди. В «Набате» — построчные. За организацию — фикс, подъемные, суточные, разъездные. Потом я тебя с румынами познакомлю. Славные ребята! Принимают вежливо, не как англичане в передних выдерживают, нет, эти за ручку здороваются, папиросами угощают. И платят аккуратно, долларами. Ты им о Каргополе расскажи. Ну, и насчет пулеметов. А если о Бессарабии начнут спрашивать, улыбайся. Я их чем взял? Улыбкой! «На что, — говорю, — нам ваша Бессарабия? У меня было именьеце в Калужской, так я день и ночь плачу — почему вы до Калуги не дошли». Понимаешь? Мы здесь дипломатами стали. Я да вот Василий Андреевич, это корпус наш, ха-ха! Деньги на бочку!..

— Парижское вам мерси. Конечно, в Румынию я не ездук. Довольно с меня польской музыки. Но здесь я с ними столкуюсь в одну минуту. Я же тоже из вашего корпуса, хотя мне ничего не кладут на бочку. Я уже подарил полякам Тулу. Почему же мне жалеть этим румынам Калугу?

Четыре «пикона» пробудили наконец в Игнате Александровиче аппетит, и он ушел обедать. Молчаливый Василий Андреевич повел Лазика в ресторан «Гарем де Бояр». Вспомнив о летнем пальто, Лазик предусмотрительно спросил:

— Вы, может быть, как Архип Стойкий, то есть забываете бумажник дома? Так у меня в кармане дыра.

— Не бойтесь!

Василий Андреевич нежно похлопал себя по груди.

— Я с вами остался, чтобы предупредить вас. Этот Благоверов хитрая bestия. Он выжмет из вас все и потом — за шиворот. Он всегда так поступает. Его самого скоро выставят. Тогда я буду главным. Помилуйте, он только одним занят: нашел подставного жидка и через него продает большевикам какие-то удобрения. Хорош патриот! А насчет румын он тоже врет. Вы мне с первого взгляду понравились. Румыны эти — жулье. От них десяти франков не добьешься. Я вам другое предложение сделаю. Только давайте-ка сначала закусим.

— Я уже выбираю вас, а не этого калужского румына. Вы мне тоже понравились, если не с первого взгляда, так с первого слова. Сразу видно, что вы главный патриот, вы ведь начинаете не с чего-нибудь, а с закуски. Но что они несут сюда? Это же не снилось даже госпоже Дрекенкопф!..

— Да, кормят здесь неплохо. Вот попробуйте икорки — наша, родная, астраханская. Я сюда поставляю. Доставка через одного прохвоста у большевиков, а потом перепродаю. Надо чем-нибудь жить. Теперь поговорим о деле. Одним «Набатом» не прокормишься. Я сведу вас с хорошими людьми. Не люди — золото. Чеки из Ревеля. Знаете Ревель?

Лазик задумался.

— Ревель? Это, кажется, кильки?

— Это, друг мой, не только кильки. Это английские фунты. Это целое государство. Вы им там три слова насчет Троцкого, а чек — в кармане. Идет? Водочки? За ваше здоровье! За наше национальное движение! За его...

— Пожалейте мой живот! Я его не в силах каждую минуту подбирать. Лучше уж выпьем за кильку.

— Ура!

Вначале Лазик крепился. Он пил водку, ел бефстроганов и вел с Василием Андреевичем дружескую беседу.

— Здесь же совсем как в «Венеции». Скажите мне, кстати, в какую дверь нужно будет бежать?

— Да, здесь уголок старой России. Великое дело — традиции народа. Знаете, кто подает нам? Полковник. Ей-ей! А дамы!.. Татьяна Ларина! «Я вас люблю, чего же боле...» Просто, как скипидар. Мы этого Благоверова по шапке!.. Вот, знакомьтесь. Наш агент по сбору объявлений, господин Гриншток.

Лазик оживился.

— В Гомеле тоже есть Гриншток, он даже заведует показательными яслями. Вы не родственник ли?

Господин Гриншток негодуяще отмахнулся от Лазика:

— У меня нет родственников среди кровавых палачей.

Нагнувшись к Лазику, он зашептал:

— А если это даже мой брат, то что за глупые разговоры? Я же собираю для них объявления. Сегодня я набрал целых три: два ночных бара и один венерический доктор. Я могу теперь даже поужинать.

Все труднее и труднее было Лазику думать, а Василий Андреевич приставал с вопросами:

— Продиктуйте мне хоть десять фамилий известных вам большевиков. Мы готовим списки, чтобы знать, кого истребить, когда настанет минута.

— Десять фамилий? А сколько было рюмок? Пять? Ну вот вам, пишите: Троцкий, Ройтшванец, Борис Самойлович... Еще? Хорошо. Кролик. Это партийная кличка. Гинденбург. Дрекенкофф. Килька. Я вовсе не пьян, это тоже кличка, и довольно меня истязать! Что я вам — адрес-календарь? Я же понимаю, вы хотите все это отнести эстонцам и получить чек в кармане. А что останется мне?

Охмелев, он кричал:

— Я румынский бдист: я с Троцким на «ты»! Я — весь в пулеметах!

Его били. Его качали. Он уже ничего не помнил. Как заверял потом Василий Андреевич, он схватил банку с кильками и пытался всунуть по рыбе каждому посетителю.

— Уже готовый чек!.. Подарим им Париж со всеми арабками!.. Да здравствует поступь!..

Летели стаканы, бутылки, столы. Под конец Лазика вывели на улицу. Подошел полицейский. Василий Андреевич вступился за своего собутыльника:

— Это ничего, он немного выпил. Он палач, и он ка-
ется. Он ищет облегчения. Славянская душа!

Выслушав это, полицейский вежливо взял Лазика под руку и довел его до ближайшей уборной. В мутных глазах Лазика вспыхнул огонек сознания. Восторженно рыкнул он полицейскому:

— Только вы один меня поняли. Мерси! И еще раз мерси!



Перед самым докладом Лазик вдруг загрустил. С трудом вскарабкался он на высокую кровать плохонького номера, где поселил его Василий Андреевич, и предался горестным размышлениям:

— Я же был честным кустарем-одиночкой. В могучий праздник Первого мая я шел со всеми портными, и над нами реял еще не оскорбленный флаг с серебряным наперстком. И вот я дошел до этих бешеных килек. Ах, мадам Пуке, — вы видите, я зову вас по-парижски, не как-нибудь, а мадам, — ах, мадам Пуке, что вы сделали с Ройтшванецом? Сейчас мне нужно идти своими ногами на этот стопроцентный погром, как будто я не знаю их шведскую гимнастику.

Меланхолично Лазик расстегнул ворот рубашки и, прищурив один глаз, стал разглядывать свое тело, сплошь покрытое синяками.

— Вот этот — еще посполитый... А эти два от рыбьего жира... Этот? Не помню... Может быть, после разговора об окороке, а может быть, из-за обезьяньего хвоста... Ну, а это — парижские... Интересно бы спросить какого-нибудь философского доктора, сколько может вынести обыкновенная еврейская жилплощадь? Мне, например, кажется, что я уже уплотнен. Но вся беда в том, что синяк ложится на синяк, и это вечное землевращение. Пора идти! В животе уже журчат мелодии, и Карл Маркс недаром зарос бородой, он кое-что понял до самой точки. Вместо всех ученых слов можно сказать одно: «Аппетит передвигает обширное человечество».

Дойдя до этого, Лазик зажмурил глаза: он увидел перед собой рубленные котлеты с картошкой. Он стал вспо-

минать — а как они пахнут?.. Долго он лежал так, переживая клецки госпожи Дрекенкопф, шварки на свадьбе Дравкина и даже охотничью колбасу. Его привел в себя раздраженный голос Василия Андреевича.

— Вы с ума сошли?.. Там все собрались, а вы здесь дрыхнете!..

Действительно, в зале было человек тридцать слушателей. В первом ряду сидели глубокие старики, с виду похожие на камердинеров. Они жевали лакричные лепешки и порой подхрапывали. Сзади бодро гудели молодые люди, щеголяя модными пиджаками в талью. На эстраду взошел Игнат Александрович. Он был постоянным председателем кружка «Крест и Скипетр».

— Я предоставляю слово кающемуся большевику Лазарю Матвеевичу Шванцу. Он ознакомит нас с национальным движением на родине. Я прошу присутствующих в зале вдов и вдовцов сохранять спокойствие. Хотя на совести у Шванца много пятен, но он честно покаялся и хочет вернуться на родину, чтобы активной борьбой против насильников смыть с себя прошлый позор.

Лазик жалобно оглядел зал, люстру, стол, покрытый зеленым сукном, с графином воды и колокольчиком, самого себя. Поздно!.. Ничего не поделаешь... Он встал, вежливо раскланялся, улыбнулся.

— Товарищи...

Молодые люди в ответ угрожающе зарычали. Лазик съежился.

— Извиняюсь, из меня иногда выскакивает гомельский оборот. Я же понимаю, что здесь нет никаких товарищей, но скажите мне, кстати, как вас называть: «господа полицейские доктора» или «паны ротмистры»?

Игнат Александрович потряс колокольчиком.

— Вы должны обращаться к аудитории «милостивые государи и милостивые государыни».

— Очень хорошо. Милостивые государи-императоры и даже государыни, хоть государынь здесь нет, а всего одна во втором ряду, я начинаю прямо с национальных меньшинств, так как этот блондин уже кричит мне, что я жид. Так я не жид, а только скромный Мойсей его императорского закона. Возьмем исторический разрез. Бывают, конечно, жида. Они нахально шьют брюки или даже заведуют в Гомеле кровавыми яслями. Они неслыханно смеются потому, что продали Христа и матушку-Россию, все вместе за каких-нибудь тридцать серебряных

рублей. Но тот же милостивый государь Гриншток вовсе не продает матушку — наоборот, он национально передвигается. Он собирает для «Русского Набата» венерические объявления, и значит, он не жид, а симпатичный Мойсей. Итак, я прошу этого блондина успокоиться, потому что я не люблю, когда кричат. Я сейчас тоже как Гриншток, и вы должны слушать меня с совершенным почтением.

Сзади кричали:

— Чекист! Палач! Что же он не кается?.. Позор!

Игнат Александрович снова прибег к помощи звонка.

— Помещение сдано до двенадцати. Кроме того, мы должны считаться с метро. Прошу уважаемую аудиторию вести себя сдержанно, а вас, Лазарь Матвеевич, ввиду позднего времени я прошу начать каяться.

— Как будто это так легко? Я же забыл, что вы мне там говорили, и я не знаю, в чем мне каяться. Я, конечно, могу покаяться в случае с кильками, но зачем было мне давать рюмку за рюмкой? И потом, если я даже кидал рыбки, то там один государь кинул в меня целый поднос. Это же тяжелее!..

Блондин не унимался:

— Сколько ты расстрелял, чекистская собака?

— Господин председатель, если этот милостивый блондин не перестанет меня прерывать, я потеряю нить. Я только хотел перейти к положению на родине, как он уже констатирует, что я собака. И потом, нельзя приставать с глупыми вопросами. При чем тут выстрелы? Я не стрелок. Я портной. Но если этот молодняк грозит разбить мне морду, я скажу, что я уже расстрелял все семь тысяч. Я стоял и стрелял из пулемета, а они, конечно, падали, и в них вонзались ужасные пули, и они кричали: «Что это за шутки, чекистская собака? Если ты не перестанешь нас расстреливать из пушек, мы сейчас же позоведем милицейского». Но я был глух к этим воплям сирот. Я расстрелял Пфейфера в моих же артистических брюках. Теперь вы довольны? Я перехожу к текущему моменту. О факте с Каргополем вы уже знаете из газет, а вообще, я не учился стройной географии. Зачем настаивать на деталях, когда мы должны считаться с каким-то метро? Достаточно сказать, что вся матушка-Россия ждет вас без дыхания. Вас так ждут, что, когда звонит, например, почтальон или, хуже того, постыдная прачка, все ошибаются и бегут с анютиными глазками навстречу, и потом

они плачут, что вместо белого коня неприличные кальсоны. А поступь? Об этом же нельзя говорить без крупных слез. Идет, скажем, по лестнице Ткаченко, а Борис Самойлович уже шепчет мне: «Ты слышишь эту поступь?» Я только одного не понимаю: почему вы не приходите? Нельзя так играть с человеческим терпением! Я, например, был верен Фене Гершанович, хоть она и чирикала с Шацманом. Но сколько я мог ждать при своем телосложении? Я ждал и ждал, а потом увидел Нюсю, и все полетело прахом с табуретки. По-моему, вам уже надо двигаться, сначала на это беспощадное метро, а потом к самой матушке.

Молодые люди, покинув свои места, столпились вокруг эстрады.

— Позор!.. Что за ерунда... Как он смеет, пархатый?.. Мы его проучим!..

— Дайте оратору возможность закончить свой доклад, — взывал председатель.

— Долой! К черту!

Звонок отчаянно дребезжал. Лазик прикрыл лицо руками.

— Вы хотите, чтоб я закончил? Я уже закончил. Что? Надо еще говорить? Хорошо, я попробую. Я скажу еще о национальном передвижении. Большевики, конечно, пломбированные изменники, потому что нельзя пропускать такой хорошей okazji. Им не дают иностранных кредитов? Значит, они не умеют разговаривать. Но здесь живет ваш удивительный корпус, и я теперь знаю, как поступать. В одной партии могут быть две фракции или даже десять фракций. Это бывает и в Гомеле. Главное, чтобы все сразу подымали руки. Тогда получается железная дисциплина. В чем различие, скажем, между Игнатом Александровичем и Василием Андреевичем? Один ходит к румынам и сует им Бессарабию, а другой получает чеки от килек. Но можно же пойти и к румынам, и к килькам. Это вопрос ног. А в Париже, как я вижу, на тридцать сребреников не проживешь, раз в этом «Гареме» бешеный бефстроганов. Я молю вас, отодвиньте ваш кулак! Я уже вношу конкретное предложение: если, например, взять в узелок Москву и отнести ее... При чем тут ваши руки? И если вы должны обязательно меня бить, то бейте сзади, чтоб я хоть не видел кровавых следов. Кар-аул! Вы опоздаете на метро!..

Вдруг счастливая мысль осенила Лазика. Быстро

схватил он со стола графин и стал поливать публику. Когда же кончилась вода, он метнул в зал графин, стакан, звонок. На шум пришел сторож.

— Господа, помещение снято до двенадцати. Будьте любезны немедленно разойтись!

Лазик первый подчинился его приказанию. Быстро нырнул он в дверь.

Но сейчас же голова его вновь показалась:

— Милостивый председатель, а где ваш чистый сбор на два-три голодных бутерброда?



На улице к Лазику подошел тощий еврейчик и дружески сказал:

— Ах, вот и вы!.. Вам, может быть, нужен пластырь? Я всегда на себе ношу: я ведь репортер «Свободного Голоса», и я должен бывать на всех эмигрантских собраниях.

— Пластырь? Вы смеетесь! Мне нужны военные перевязки, а пока что пять франков на закуску.

— Пойдемте в «Ротонду». Там подкрепитесь. Ну, теперь вы увидели, что это за публика? Вы должны были прийти к нам. У нас даже если любят какого-нибудь патриарха, то не устраивают сразу погром. Вы же свежий человек, недавно из России, и вы знаете, кого там ждут. Великий князь категорически ни при чем. Там ждут только выборов в парламент. Вы не заметили этого? Ну да, вы еще запуганы. Вы проживете здесь годик-другой, и тогда вы заметите. Мы понимаем, что некоторые труженики и там трудятся. Нужно уметь отделить хлебец от плевел. Мы вовсе не ставим на всем крест. Возьмите писателей. Они продались, это само собой понятно. Но есть исключения. Кто же из нас не чтит Пушкина или даже Айвазовского? Словом, с нами вам будет легко сговориться. Вы прочтете небольшой доклад...

Лазик прервал его:

— Ни за какие бананы! Лучше уже прыгать с хвостом.

— Ну, не волнуйтесь! Подкрепитесь сандвичами. Сейчас мы пойдем в редакцию. Я вас познакомлю с заведующим экономическим отделом. Это умница, голова,

первый социолог. Европейская знаменитость! Он вам все растолкует лучше меня. Я ведь не политик, я, собственно говоря, комиссионер. Вот если вам понадобится, например, квартира с крохотными отступными или хорошие дамские чулки по двадцать семь франков за пару, тогда вспомните Сюскинда.

Заведующий экономическим отделом Сергей Михайлович Аграмов принял Лазика чрезвычайно любезно. Он долго расспрашивал его о состоянии посевов, о росте оппозиции в Красной Армии, о ценах на мадаполам, даже о количестве аборт, причем сам же отвечал на все эти вопросы. Наконец, Лазик заинтересовался.

— Вы таки европейская голова! Я гляжу и удивляюсь: как вы можете сразу и говорить, и писать? Это, наверно, фокус. А можно спросить вас, какой словарь вы там сочиняете?

— Я записываю ваши слова.

— Мои слова? Это уже два фокуса. Ведь я все время молчу, как дрессированная рыба.

— Вот послушайте: «Беседа с крупным советским спецом. На первый же наш вопрос о московских настроениях Х ответил: «Русский Набат» не пользуется авторитетом. Население с нетерпением ждет...»

— Вы можете дальше не читать. Тот, с дамскими чулками, мне уже объяснил, кого ждет все обширное население.

Тогда Аграмов сострадательно взглянул на Лазика.

— Я вижу, что вы насквозь пропитались советской заразой. Это ужасно!.. Пионеры... Октябрята... Растление детских умов...

— Извиняюсь, господин социолог, но мне уже тридцать три года, и я даже был полтора раза женат, считая за половину этот случай из-за клеток.

— Вам тридцать три? Вы вдвое моложе меня. Политически вы младенец. Как ужасно, что огромной страной управляют такие дети! Вы сейчас будете ссылаться на Маркса. Но разве вы знакомы с первоисточниками? Страна с отсталым хозяйством не может претендовать на мировую гегемонию. Эти щенки думают, что они открыли Америку. Они случайно захватили власть. Они у меня отняли кафедру. Они должны уйти. Я могу сейчас же доказать вам это цифрами.

— Нет, не доказывайте. Я очень плохо считаю. Я на кроликах просидел три дня. Потом, зачем же вам в таком

почтенном возрасте истреблять себя какой-то арифметикой? Вы думаете, мне вас не жаль? Даже очень. Вы, такой европейский счетчик, пропадаете с дамскими чулками. Я понимаю вашу ученую грусть. Я, конечно, не могу с вами спорить, потому что вы, наверное, кончили четыре заграничных университета, а меня до тринадцати лет кормили одним опиумом, так что я из всего Маркса знаю только факт и бороду. Но все-таки кое-что я понимаю. Ведь не один Маркс был с бородой. Я, например, могу осветить ваше позднее положение одной историей из Талмуда. Вы же не скажете, что Талмуд — это большевистская выдумка. Нет, Талмуд они даже хотели изъять из «Харчсмака», и ему еще больше лет, чем вам. Так вот, там сказано о смерти Мойсея.

На личности, кажется мне, нечего останавливаться. Вы ведь только заведуете одним отделом, и значит, вас здесь десять или двадцать умниц. А Мойсей был всем: и, как вы, социологом, и генералом, и даже писателем, словом, он был европейской головой. Но так как евреи пробродили, шуточка, сорок лет по пустыне, он успел состариться, и, не принимайте это за справедливый намек, ему пришло время умирать. Бог ему спокойно говорит: «Мойсей, умирай», — но тот отвечает: «Нет, не хочу». Это же понятно!.. Так они спорят день и ночь. Когда я об этом читал в хедере, у меня волосы становились дыбом. Наконец богу надоело. Он говорит: «Ты был полным вождем моего народа, но ты стар, и ты должен умереть. У меня уже готов кандидат. Это Иегошуа Навин. Он моложе тебя, и он будет полным вождем». Мойсеи весь трясется от обиды. Он говорит: «Но я же не хочу умирать. Хорошо. Я не буду больше вождем. Я буду гонять простых баранов. Но только позволь мне еще немножечко жить». Что же, бог смутился: тогда еще на земле было мало людей, и он, наверное, не успел привыкнуть к человеческой смерти. Решено: старый Мойсей будет погонщиком баранов, а молодой Иегошуа будет полным вождем. Вы слышите, что за обида? Это похуже вашей кафедры! Весь день несчастный Мойсей гонял баранов, а вечером все собрались у костров, чтобы слушать умные разговоры. Все, конечно, ждут, что Мойсей начнет свою лекцию, но Мойсей молчит, Мойсей бледнеет, как эта стенка, и со слезами Мойсей говорит: «Я стар, и меня прогнали. Вот вам Иегошуа, он теперь знает все — и куда нужно идти из пустыни, и как получать манну, и как жить, и как радовать-

ся, и как плакать». Что же, народ — это всегда народ. Они для приличия повздыхали и пошли к Иегошуа, а Иегошуа в это время уже разговаривал с богом обо всех текущих делах. Мойсей так привык к этим беседам, что он тоже подставил ухо. Но нет, он ничего не слышит. Он теряет терпение. Он кричит Иегошуе: «Ну, что тебе сказал бог?» Иегошуа молод, и, значит, он еще петух, ему наплевать на стариковские слезы. Он и отвечает: «Что сказал, то сказал. Когда ты был полным вождем, я, кажется, тебя не спрашивал, о чем ты беседуешь с богом. Нет, я тебя просто слушался, а теперь ты должен слушаться меня». И Иегошуа начал первую лекцию. Мойсей слышит, что Иегошуа еще молод, но не знает, об этом забыл, и он хочет вмешаться. Но нет у него больше ни огня, ни разума, ни настоящих слов. Он говорит, а народ его не понимает. Еще вчера они его носили на руках, а сегодня они ему кричат: «Ты бы лучше, старик, пошел к твоим баранам». Вот тогда-то не выдержал Мойсей. Кто знает, как он любил жизнь, как не хотелось ему умирать! Но он все-таки не мог пережить свое время. Он так громко крикнул, что порвал все облака: «Хорошо, я больше не спорю. Я умираю». Конечно, господин социолог, вы не Мойсей, и я вовсе не хочу вашей преждевременной смерти. Нет, я знаю, что каждому человеку хочется жить, даже мне, хоть я самый последний пигмей. Но вы не должны сердиться на какого-нибудь нахального пионера. Он же не виноват, что ему только пятнадцать лет. Он молод, и он крикун, и он плюет на все. Он, может быть, на вашей дубовой кафедре устраивает танцы народностей. Что делать — на земле нет справедливости. Но если вы такой умница, почему вы ему кричите «вон!»? Он же не уйдет, а вы уже ушли, и вы с баранами, и точка. Пошлите-ка лучше за бутылкой вина, и мы с вами выпьем за нашу мертвую молодость.

Аграмов иронически прищурился.

— Ваше сопоставление не выдерживает критики. Параллели в истории вообще опасны. В данном случае была эволюция, смена поколений, прогресс. У нас же произошел насильственный разрыв. Революция — это преступление, коммунизм — это ребяческая затея. Только невежественные люди могут верить в утопии. Современная социология...

— Стойте! Вы снова хотите меня убить вашей дубовой кафедрой? Я же не знаменитость. Я с вами говорю по

душам, а вы устраиваете дискуссию. Вы думаете, я не знаю, что такое революция? Спросите лучше, сколько раз я сидел на занозах. Не будь этих исторических сцен, я бы теперь спокойно утюжил брюки дорогого Пфейфера. Я ее вовсе не обожаю, эту революцию. Она мне не сестра и не Фенечка Гершанович. Но я не могу кричать: «Запретите тучи, потому что я, Ройтшванец, ужасно боюсь грозы и даже прячусь, когда гроза, под подушку». Конечно, гроза — большая неприятность, но говорят, что это нужно для какой-то атмосферы, уж не говоря о дожде, который ведь поливает всякие огороды. Вы напрасно меня спрашиваете об уклонах командного состава или о беспорядках в Бухаре. Этого я не знаю, и все равно вы напишете это сами. Лучше я расскажу вам еще одну историю о том же Мойсее. Она, может быть, подойдет к нашему разногласию. Мойсей тогда еще был молод. Он был не вождем, а только ясным кандидатом. Вдруг бог говорит ему: «Иди сейчас же к фараону и скажи ему, чтоб он отпустил евреев на свободу». Мойсей отправился впопыхах, разыскал египетский дворец, оттолкнул всех швейцаров и говорит фараону:

— Отпусти сейчас же евреев на свободу, не то тебе будет худо.

Фараон прищурился, вроде вас:

— Что за невежливая утопия? Кто ты такой?

— Я посол еврейского бога Иеговы.

— Иеговы?

Фараон даже наморщил лоб.

— Ие-го-вы? Я такого бога не знаю. Эй вы, ученые секретари, притащите сюда полный список всех богов!

Секретари притащили целую библиотеку, потому что богов в то время было гораздо больше, чем теперь таких умниц, как, скажем, вы. День и ночь все ученые Египта просматривали списки. Вот бог с собачьей мордой, а вот с рыбьим хвостом, но никакого Иеговы нет и в помине. Тогда фараон расхохотался:

— Ну, что я говорил тебе? Такого бога вообще нет, раз его нет в нашем замечательном списке, а ты нахальный мальчишка, и убирайся сейчас же вон!

Но вы, конечно, знаете, господин социолог, что фараону пришлось очень худо. Что вы там снова записываете? Факт с фараоном?

— У меня нет времени для исторических анекдотов. Я заканчиваю интервью с вами. «Х подтвердил также, что

постановка высшего образования не выдерживает никакой критики. Вузы — образец запущенности, невежества, хулиганства. Старые кафедры занимают теперь полуграмотные юноши». Я, кажется, хорошо изложил ваши мысли? Теперь вы можете идти.

Лазик вздохнул.

— Пусть это будут мои мысли. Вы же кончили четыре университета, и все равно мне вас не переговорить. Тогда сосчитайте, пожалуйста, строчки или дайте мне просто на глаз какие-нибудь двадцать франков.

Аграмов удивленно взглянул на Лазика.

— Какие франки? Какие строчки? Вы здесь абсолютно ни при чем. Это — моя статья. Будьте добры немедленно покинуть это помещение.



«Куда мне идти? Переходить без конца площадь, пока меня не раздавит какая-нибудь рассеянная арабка? Или взобраться на эту научную башню и оттуда прыгнуть вниз? Все равно рано или поздно придется умереть. Да, но одно дело — умереть, хорошо покушав, выпив, поговорив. Это даже не смерть, это интересный сон на кушетке. А умереть натошак скучно. Ведь я сейчас еще не подготовлен к таким музыкальным минутам. Все, конечно, увидят, что летит с башни печальный человек, и снимут шляпы: вот он падает вниз и думает о горных вершинах. А я, как самый низкий нахал, будут думать в это самое время о вчерашних сэндвичах в «Ротонде». Если приподнять верхнюю крышку — волнующий сюрприз, например, сыр или даже паштет... Нет, я еще не готов к смерти, и лучше всего пойти в «Ротонду». Может быть, там я найду этого Сюскинда с чулками? Я выпрошу у него если не весь сюрприз, то хоть верхнюю крышку».

Лазик робко вошел в «Ротонду», но, оглядевшись по сторонам, он тотчас же оживился. Правда, Сюскинда в кафе не было, зато он увидел немало посетителей подходящего вида. Они отличались от других парижан как меланхолическим взглядом, так и грязным бельем.

«Наверное, они если не из Гомеля, то возле».

Лазик подошел к ближайшему столику:

— Вы, может быть, гомельчанин?

— Ничего подобного. Я как раз из Кременчуга.

— Ну, это недалекое яблоко. Я так и подумал, что вы из окрестностей. А чем вы здесь интересуетесь? Дамскими чулками или обстановкой?

— Вы таки в Гомеле отстали! Кто теперь станет возиться с чулками на модели или с комодом? Вы, может быть, скажете, что я беру еще яблоко или бутылку? Как будто теперь — это год тому назад! Когда мне нужен натюрморт, я не задумываюсь. Я беру кусок мяса, или птицу, или даже кролика.

Лазик не выдержал, он облобызал меланхолического незнакомца.

— Я тоже! Я тоже! У нас совсем одна душа!

Незнакомец, однако, подозрительно нахмурился.

— Вы, может быть, хотите подражать мне? Так этот номер не пройдет. Достаточно меня и так обкрадывают. Я вам не покажу моих картин, а если б я их показал вам, все равно вы ничего бы не сумели сделать. Конечно время голых штучек! Теперь всякий порядочный торговец требует, чтобы была чувствительность. Вот видите, за тем столом сидит Ленчук — он меня всегда обкрадывает. А там, в рыжей шляпе, — это Монькин. Он взял мою тушу и немножко передвинул ее. Но у торговцев есть еще нос. Они видят, что мой кусок мяса весь дрожит. Они не дураки, если платят мне за пятнадцатый номер тысячи двести.

Сидевшие вокруг поддакивали:

— Его мясо звучит... В «Осеннем салоне» возле его картины была такая толкотня, что даже поставили полицейского.

— Вы же не знаете, с кем вы говорите? Это Розенпуп, и его имя на всех заборах. О нем столько пишут, что даже нельзя прочесть. Это о нем критик Куйбон сказал вслух: «Розенпуп сын Ренуара, и он скоро проглотит отца, как Зевс проглотил Хроноса». Здорово?

— А бездарные Монькины пробуют еще рыпаться! Но они сидят в «Ротонде» и пьют несчастный кофе, а за Розенпупом охотятся американцы.

Розенпуп расчувствовался:

— Сегодня можно немножечко выпить. Я продал два мяса, и я ставлю. Но с чего мы начнем? С пива или с коньяка?

Лазика не приглашали. Грустно стоял он в сторонке. Наконец, не выдержав, он взмолился:

— Извиняюсь, но подарите мне счастье сидеть рядом с вами. Я только сяду, и я ничего не буду пить. Я хочу вам сказать, что я вас обожаю. Я читал ваше имя на заборе, и я плакал вслух. О мясе я уже не говорю. При чем тут идиот Монькин? Он крадет объедки, а у вас хороший жирный кусок. Вы думаете, в Гомеле о вас не слышали? Там только и говорят, что Кременчук перепрыгнул всех. Я сам читал о вас реферат. Я кричал: «Этот сын Зевса проглотит все, что ему только захочется». Кстати, у меня уже жажда. Вы, конечно, угостите меня? Я хочу кофе и штучки с сюрпризами, чтобы внутри был паптет или ветчина, только, пожалуйста, три кофе и пять штучек. Вы не удивляйтесь, я вовсе не нищий, я сегодня уже обедал, и мое имя тоже будет на заборе. Это у меня такая привычка — глотать хлеб залпом. Я ведь большой оригинал.

Закончив кофе и бутерброды, Лазик решил поговорить по душам.

— Здесь очень симпатичная жизнь! Это гораздо приятней, чем каяться перед поступью. Но скажите мне, мосье Розенпуп, у вас, может быть, мясная лавка с приложением дичи или вы просто знаменитый повар, потому что я не понял двух-трех парижских оборотов?

В бешенстве Розенпуп разбил все рюмки.

— Он смеет остричь, этот негодяй! И еще после пяти сандвичей! Я же сразу почувствовал, что он снюхался с Монькиным и Ленчуком. Когда вы разговариваете с первым художником мира, вы вообще должны молчать. Я знаю, вы хотите меня обокрасть! Стащить зеленого кролика или тушу. Но это не пройдет! Я вас не пущу на порог. И убирайтесь вместе с Ленчуком подкупать критиков, чтоб они обо мне не писали! Как будто я не знаю, кто устраивает это молчание после «Салона»! Ленчук и вы. Кто у меня отбил всех торговцев, так что я теперь ничего не продаю? Монькин и вы. Убирайтесь, а то!..

Лазик предпочел не дослушать угрозы. Зачем расстраивать себя после стольких вкусных сюрпризов? Он быстро встал, сказал «мерси» и направился к Монькину.

— Мосье Монькин, будем уже знакомы. Что? Вы не знаете, с кем говорите? Это таки странно. Я, например, уже знаю о вас все подробности. Я еще в Москве повсюду

кричал: «Монькин проглотил Зевса». Мы там стояли и удивлялись, как ваше мясо гудит. Смешно, когда этот дурак Розенпуп пробует вас обокрасть. У вас, наверное, есть американский замок, а он голая бездарность. Я сидел сейчас с ним, и я швырнул ему всю правду в лицо, так что он разбил четыре стакана. Но с вами я говорю как с вполне равным. Вы спрашиваете, кто я? Я — Лазик Ройтшванец, и я второй художник мира, если вы, скажем, первый. Мы можем устроить могучий союз. Правда, моего имени еще нет на заборах, но это потому, что я временно скрываюсь: ведь за мной охотятся настоящие американцы. Я тайная знаменитость. Где мои картины? Уже в торговле. Адрес я не могу вам сказать. Это ужасный секрет. Я скажу вам его через несколько дней. Я даже возьму вас в эту огромную торговлю. А теперь поговорим о текущем моменте. Пить я больше не хочу, но я пойду к вам ночевать, потому что я еще не нашел в Париже подходящего помещения. Не бойтесь, я вас не будут обкрадывать, я не ничтожество Розенпуп.

Монькин оживился.

— Это вы правильно говорите. Настоящее ничтожество! Он смеет еще кричать всем критикам, что я пачкун. Он же ничего не понимает в живописи. Он так отстал, что на него смешно глядеть. Да, теперь нужно пачкать, нужно кидать краску, чтобы чувствовалось мясо, а он не пишет, он рисует, он смехотворный выскочка. Он отбил у меня торговца: «Поглядите, Монькин не думает над картинами». Но спросите того же торговца, он первый вам скажет: «Теперь думать вовсе не нужно, нужно, чтобы в каждом сантиметре дрожал кусок».

Лазик горячо поддержал Монькина:

— О Розенпупе не стоит говорить. Это пустой сантиметр. Я же с детства разделяю ваши тезисы. Но мы с вами не будем ссориться. Можно, кажется, разделить мир между двумя безусловными знаменитостями. Я не говорю о пустых бутылках или об яблочном пюре. Это мы оставим Дрекенкопфам. Но вы возьмете себе мясо, и капусту, и тарелки, и все, что захотите, а я буду класть только кроличьи бананы, потому что в этом я совершенный спец. А теперь идемте-ка спать — я что-то устал от этой чувствительности.

На следующее утро Монькин показал Лазику свои произведения.

— Ну, поглядите на этот холст. Здесь все течет одно из другого.

Лазик прищурил один глаз, потом другой и с видом знатока процедил:

— Симпатичная картинка. То есть я хотел сказать, что это гениально, как Зевс. Это так содрогается, что трудно глядеть натошак, каждый кусок прямо лезет в рот. Скажите, где вы достали такие чудные котлеты, чтобы они перед вами позировали?

Монькин удивился.

— Это же не котлеты. Это мой автопортрет. Впрочем, разве в сходстве дело! Сходство теперь не в моде. Я беру одни кусочки. Я их оживляю. Понимаете? Сейчас я начал натюрморт с уткой. Вот полюбуйтесь, какой сочный холст: утка, морковь на фоне оливкового бархата. Я только боюсь, что утка сделана чуть-чуть сухо.

Лазик, взглянув на картину, быстро спросил:

— А где же живой оригинал?

— Вон там, на столе. Ну, мне надо торопиться. У меня не осталось ни су, а натошак не идут никакие мысли. Пойду ко всем торговцам, попробую всучить кому-нибудь этот автопортрет хоть за пятьдесят франков. Негодяй Розенпуп, он завалил все галереи своей дрянью. Вы можете остаться. А если вы уйдете, положите ключ под дверь.

Лазик остался. Часа два или три он честно ждал возвращения Монькина.

Монькин вернулся только под вечер. Он нашел ключ, как было условлено, под дверью. На столе лежала записка:

«Дорогой мосье Монькин, честное слово, я не виноват! Вы же сами сказали, что натошак не идут мысли. Я каюсь, как я не каялся на докладе. Но я спрашиваю вас: почему вы меня оставили с ней вдвоем? Я долго боролся. Кто знает, сколько раз я подходил и отходил!.. Потом я увидел керосинку и даже кастрюлю. Вы, конечно, простите меня. Вы ведь ее уже немножко нарисовали, а кусочки вам придут в голову. Вы же не какой-нибудь жалкий Розенпуп. Морковь я тоже взял, потому что без гарнира невкусно. А оливковый фон я вам оставил целиком. Я клятвopепреступник и достоин оплевания. Но с аппетитом не шутят. Когда-нибудь я отплачу вам с процентами. Я подарю вам всех торговцев мира, а пока что цветите как

первая знаменитость, и не вспоминайте меня каким-нибудь лихом. Я ваш компаньон Лазик Ройтшванец. P.S. Вы напрасно ее оклеветали, что она сухая. У нее на задочке был такой жирок, что я еще сейчас лижу губы».



Прошло две недели, и все в «Ротонде» уже знали Лазика. Он заставлял американцев, приходивших поглядеть, «как живет парижская богема», угощать его сандвичами или же сосисками. Держался он независимо.

— Вы потом расскажете в вашей Америке, как вы охотились за знаменитым Ройтшванцем. Вы не видели моих зеленых кроликов, и вы их не увидите, потому что я живу, как монах, для искусства. Что вы понимаете в сочных сантиметрах? Как будто я не вижу, что вы на меня смотрите прямо-таки неживописными глазами.

Американцы робко возражали:

— Мы были в Лувре. Мы видели «Джоконду»...

— Мне неловко сидеть рядом с вами. «Джоконда»!.. Но ведь это бутылка, и это сделал мой самый последний ученик.

Лазик быстро усвоил нравы «Ротонды». Он умел теперь пугать новичков, одалживать с нахрапу франк и подкидывать пустую чашечку зазевавшемуся соседу. Правда, Розенпуп и Монькин были безвозвратно потеряны. Что же, он подружился с Ленчуком. Он сумел опередить Монькина.

— Сейчас придет этот вор, который крадет все у Ленчука, и он скажет, что я у него украл, с больной головы на здоровую, живописную утку. Но он сам в это не верит, и он крадет у первого попавшегося свой собственный портрет.

Художники недоумевали: откуда он взялся, этот Ройтшванец? Что он делает? Лазик отвечал уклончиво: адрес — секрет, все скоро выяснится, а за будущее он спокоен. Некоторые говорили: «Просто жулик». Другие возражали: «Нельзя так завидовать чужому успеху». Они уверяли, что кто-то видел картины Лазика и чуть не рехнулся от восторга: вот где настоящая живопись! Куда тут Монькину или Розенпупу!

Слава Лазика росла. Жил он впроголодь, но, выудив у одного датчанина, растроганного величием искусства, двадцать франков, немедленно заказал визитные карточки: «Лазарь Шванс. Артист-художник».

Шванс — это звучит по-парижски, это коротко и вежливо. Например: «Мерси, мосье Шванс». От этого можно заплакать.

Карточки вместе с гордой осанкой сделали свое дело. Как-то в «Ротонде» к Лазику подошел господин, весьма прилично одетый, и, приподняв котелок, сказал:

— Вы — мосье Шванс? Не так ли? Я о вас много слышал. Я ведь часто захожу в «Ротонду» выпить аперитив. Я живу здесь рядом. Мой магазин унитазов вот там, за углом. Я хотел бы переговорить с вами. Дело в том, что в нашей отрасли теперь кризис, а я все время только и слышу, как богатеют продавцы картин. Мне говорили, что один торговец платил художнику по двадцать франков за картину. Художник умер, и теперь каждая картина стоит сто тысяч. Вот это значит — пустить капитал в оборот. Мне еще говорили, что здесь все художники быстро умирают, и это, конечно, торговцам на руку. Вот я и решил немного заняться искусством. Я ищу молодой талант, чтобы рискнуть. О вас говорят, что вы загадка. Это мне нравится. Потом, у вас, простите меня, сложение не богатырское, так что я вправе рассчитывать, что вы, упаси вас боже, очень скоро умрете.

Лазик заметил:

— Да, я тоже так думаю. Ройтшванец, или, по-здешнему, Шванс, — фейерверк, и он моментально сгорает. От меня уже мало осталось — только аппетит, философия и два-три постыдных анекдота. Но что же вы мне предлагаете?

— Я предлагаю вам подписать контракт на всю вашу жизнь. Вы должны изготавливать в месяц пять картин и сдавать их мне. Я вам буду платить по пятьдесят франков за штуку. Но раньше всего я хочу поглядеть на ваши работы.

— Последнего я не понимаю. Как будто вы не знаете палитры Шванса? Прочтите на заборах! Это не холст, а чувствительность, так что все парижские дамы плачут, как у иерусалимской стены, хоть перед ними зеленый кролик или даже ваш автопортрет. Сходство — это позапрошлый скандал. Я ни минуты не думаю, я только теку

сам из себя, и я пачкаю, как самый гениальный пачкун. Возьмите миллиметр — его же нет, это арифметика, а у меня он живет, он трепещет, он уже кусок в золотой раме. В это время, представьте себе, раздается мой предсмертный кашель. Вы плачете, вы даете мне касторку, вы кричите: «Шванс, не умирай». Но я вежливый оригинал, и я отказываюсь от вашего совета, я умираю. А у вас на руках целый холстяной завод. Вы сразу становитесь Ротшильдом. Это же не глупые унитазаы!

— Я понимаю, что вы не хотите показывать ваших работ другим художникам. Но мне вы можете их показать. Право же, я заслуживаю доверия. У меня здесь семнадцать лет магазин. Вот моя визитная карточка: «Ахилл Гонбюиссон».

— Мосье Ахилл, если вы так настаиваете, я скажу вам, что со мной случилась маленькая неприятность. У меня были деньги. Я каждый день ел уток, и я катался в автомобилях через площадь, и я заказывал себе разные карточки, вроде этой. Но потом деньги случайно закончились, я скрепил мое сердце, я сжал зубы, я понес в мешке все драгоценные картины, и я их заложил у одного торговца рыбьим жиром за жалкие пятьдесят франков. Это же может случиться со всяким, и с Монькиным, и с самой Джокондой. Вы мне даете уже за одну штуку пятьдесят франков, чтобы перепродать ее после моей безусловной смерти ровно за сто тысяч, а там лежат сто штук, и стоит мне отнести этому рыбьему иску пятьдесят франков, как вы сможете плакать перед всеми шедеврами.

Ахилл Гонбюиссон покряхтел, повздыхал и дал Лазик пятьдесят франков.

— Вот, распишитесь. Что поделаешь — кто не рискует, тот и не выигрывает...

Вечером Лазик разыскал в «Ротонде» Монькина.

— Я же написал вам в той самоубийственной записке, что вы получите сторицу. Во-первых, вот вам адрес замечательного торговца. Вы не глядите, что в окне белое неприличие. В душе у него живописный восторг. Вы сможете продать ему даже вашу автопортретную котлету, потому что я давно не видел такого стопроцентного дурака. А во-вторых, я сейчас поведу вас в роскошный ресторан, и там вы получите какую угодно утку с полным гарниром.

Выпив в ресторане стакан вина, Лазик заплакал.

— Я плачу от красоты! Если на свете существуют, скажем, эта Джоконда, и сын Зевса, и вы с вашим портретом, то можно ли не плакать? Я ведь в душе настоящий художник. Столько раз я мысленно рисовал глаза Фенечки Гершанович на фоне гомельской сирени! Уж кто-кто — чувствительный, это я. Я сегодня увидел в одном кафе девушку, и я чуть не попал под арабский автомобиль. У нее были глаза до ушей и губы, как флаг, который я храбро носил в мои счастливые дни. Вы не знаете ли, кстати, кто она? Потому что я сейчас решил: я или поцелую ее, или умру. Вы же видите, сколько у меня чувства! Я сейчас швыряю краски, и она уже дрожит в моей голове. Да, все это так, только что со мной будет завтра?.. Хорошо умереть от любви, но не от шведской гимнастики, а у этого унитаза вместо ружья пулеметы.

На следующее утро Лазик решил сидеть дома и к «Ротонде» не подходить за версту. Но вспомнив глаза прельстившей его особы, он не вытерпел:

— Я пойду на цыпочках, и я буду все время нырять в подъезды. Пусть я умру, но я хочу увидеть ее перед смертью.

Увы, он увидел не ее, а мосье Гонбюиссона.

— Вы меня обманули!..

— Спрячьте, пожалуйста, ваши пулеметы! Что я могу сделать, если они пропали? Я больше потерял, чем вы. Возьмите карандашик и сосчитайте. Вы потеряли пятьдесят, помножим на один — пятьдесят, а я сто, помножим на пятьдесят — пять тысяч. Вы видите. И я все-таки его не убил, так что положите пулеметы во внутренние карманы. Я плакал всю ночь, у меня распухли глаза. Может быть, я к вечеру поправлюсь и тогда моментально сделаю вам десять полных шедевров, но, конечно, у меня нет ни холста, ни красок, ни кролика, чтоб он мне безуслвно позировал. Если бы вы еще раз рискнули...

— Дудки!.. Вы думаете, если вы по карточке артист, а я продаю унитазы, то вы будете водить меня за нос? Я вас могу отвести в префектуру. Я вас могу раздавить на месте. Видите эти руки? Но я сделаю последнюю пробу. Я дам вам холст, краски, модель... Работать вы будете у меня. Под замком. Поняли?

И, сказав это, Ахилл Гонбюиссон повел трепещущего Лазика к себе.

— Кого вы хотите писать? Мужчину? Женщину?

— Нет. Это позапрошлый сезон. Я пишу только мясо. Одним словом, я хочу писать кролика, но чтоб он был не в болванском меху, а уже окончательно зажаренный.

Ахилл Гонбюиссон вскоре принес холст, краски, кисти и большого кролика. Он ворчал:

— Выдумщики эти артисты!.. Вот, едва нашел в колбасной. Знаете, сколько он стоит? Восемнадцать франков!

Ахилл Гонбюиссон запер Лазика и ушел. Лазик поглядел в окно: нет, отсюда не прыгнешь, это почти что научная башня.

Вспомнив назидания Монькина, он стал пачкать красками холст, но краски пачкали, главным образом, его руки. Кисти вскоре поломались. Ничего не получалось — ни собственного портрета, ни кролика.

— Сейчас он меня убьет. Это последние минуты приговоренного Ройтшванца. Что же, если мне предстоит такая смерть, я хоть скушаю напоследок этот зажаренный банан.

Он предался неизъяснимому блаженству. Когда пришел Ахилл Гонбюиссон, от кролика оставались только тщательно обглоданные косточки. Ахилл Гонбюиссон прорычал:

— Где картинка?

— Ой, прощай, моя родина! Прощай, матушка-Гомель! Где картинка? Ее еще нет. Во-первых, она могла не выйти. У нас в Гомеле был фотограф Хейфец, он снимал за шестьдесят копеек даже двоих и в венчальном платье, но у него часто ничего не выходило. Это как на дикой охоте — бывают промахи.

— Скотина! Жулик! Бери кисти и мажь! Гляди на модель!

Очень кротко, задушевно Лазик промолвил:

— Его уже нет. Что вы меня трясете? Я же не вытряхну из себя сто картинок!.. Торгуйте вашими унитазами, но оставьте меня в покое. Ой, как мне больно!.. Я не художник, чтобы сидеть и пачкать материю, я честный портной. Только не деритесь! Я могу вам перелицевать брюки. Я сейчас умру... Вы думаете, вы из меня выжали картинку? Злодей? Это — кролик, единственный кролик за всю мою страдальческую жизнь!..

«Р

отонда» была вытоптана, как луг стадом кочевника. Американцы перестали даже оборачиваться на Лазика. Увидев его издали, завсегдатаи кричали: «Франка, положим, не будет!» Лакеи требовали деньги за кофе вперед. Напрасно Лазик уверял, что огромный синяк на его лбу носит спортивный характер:

— Я участвовал в гонках, пятьсот миллиметров в один час, и арабка таки перевернулась на спину.

История о том, как он сожрал кролика у Ахилла Гонбюиссона, обошла весь квартал. Друг Монькина Шпритц нарисовал карикатуру «Рождение Венеры». Он изобразил Лазика голым, в синяках и в кровоподтеках среди морской пены. Лазик стоял в фаянсовой раковине изделия Ахилла Гонбюиссона, стыдливо прикрываясь, а сверху на него сыпались дары земли: курицы, утки, кролики. Лазик не обиделся, он только заметил, восстанавливая истину:

— Те штуки были совсем другой формы. Впрочем, дело не в сходстве.

Карикатуру повесили в «Ротонде», и один американец купил ее у Шпритца за сто франков: на память о самом типичном посетителе «Ротонды». Лазик попробовал вмешаться и попросить сэндвич, но был с позором отогнан.

Когда все возможности были потеряны и предстояла голодная смерть под одним из тех заборов, на которых должны были значиться победоносные имена Розенпуа или Монькина, пришло неожиданное избавление. Луи Кон, известный в светских кругах Парижа как сноб, гурман и ловелас, увидев Лазика у витрины жалкой колбасной, приютил его, более того, он сделал из грязного оборванца своего личного секретаря. Лазик щеголял теперь в широчайших штанах, вздыхая:

— Это изведенный материал на троих.

Он ел в лучших ресторанах и катался в сорокаильном лимузине. Его портрет был напечатан в журнале мужских мод «Адам» со следующей надписью: «М.Лазариус Шванс, наш молодой гость, полесский принц, друг М.Луи Кона». Лазик портрет вырезал и положил его бережно в карман, где хранилось изображение португальского бича.

Однако, прежде чем говорить о новой службе Лазика, я должен остановиться на неизвестной особе с яркими губами, благодаря которой ему пришлось ознакомиться с тяжелой рукой Ахилла Гонбюиссона. Каждый вечер она сидела в маленьком кафе напротив «Ротонды», и каждый вечер Лазик стоял у двери, чтобы еще раз взглянуть на ее чересчур длинные глаза. Мадемуазель Шике его, разумеется, не замечала. Один раз, выйдя из кафе, шатаясь от коктейлей, она приняла его за грума:

— Позовите такси!

Взволнованный дивным голосом, Лазик не двигался с места. Она его подтолкнула зонтиком, а когда он наконец подошел к автомобилю, дала ему франк. Лазик швырнул монету в оконце автомобиля:

— Купите себе на эту сумму какую-нибудь орхидею, потому что я люблю вас сильнее, чем я любил Фенечку Гершанович!

Когда судьба Лазика резко переменялась, первым делом, отпросившись у Луи Кона, он направился в заветное кафе. Он сел за столик рядом с мадемуазель Шике и заказал бутылку шампанского. Весь вечер он не сводил с нее глаз. Девушка наконец не выдержала:

— Что вы на меня смотрите, как кот на сметану?

— Нет, ни один кот не может так смотреть. Даже я, когда у меня был покойный аппетит, даже я не смотрел так ни на сметану, ни на печенку в сметане, ни на кролика. Вы меня не узнаете? Я три недели стоял у этих дверей без дыханья. Я еще подарил вам ваш франк на орхидею. Интересно, какой цветок вы тогда себе купили? Конечно, на один франк нельзя сделать настоящее цветочное подношение. Но третьего дня я неслыханно разбогател, потому что какой-то болван нашел во мне темперамент, и завтра я вам куплю анютиных глазок на целую тысячу франков, только позвольте мне еще десять минут смотреть с отчаянием на вас.

Мадемуазель Шике оживилась:

— Чудак!.. Хотите танцевать?

— Ни за что! Я знаю все эти прыжки наизусть, но у меня нет сейчас научного подхода. Я боюсь, что я зайду не туда, как товарищ Серебряков.

— Ну, как хотите. Можно, я к вам подсяду? Вы что пьете? Шампанское?

Они чокнулись. Лазик выпил бокал залпом. У него кружилась голова от вина и счастья. Мадемуазель Шике щекотала его локоном.

— Вы совсем дитя.

— Я — дитя? Вы, конечно, уничтожаете меня сарказмом. Если мне даже тридцать три года, то я еще не старик. Настоящие страсти вовсе не у молодых скакунов с горячими глазами. Нет, в двадцать лет человек все равно бесплатно горит. Он горит от любви, или от какого-нибудь классового идеала, или просто от высокой температуры. Но, спрашивается, сколько у него чувств в эти двадцать лет? Охалка или две охалки, и они моментально сгорают. Что остается? Искорка. И вот проходят годы, и эта искорка вдруг вспыхивает. От нее бывает такой мировой пожар, что не успеешь крикнуть «караул», как уже сгорает все сердце.

— Я тоже люблю мужчин постарше. Они требовательней, зато они понимают, что им дают. У тебя, наверное, тонкий вкус. Расплатись, и поедем.

Лазик ничего не соображал. Он едет прямо к ней! А где орхидеи? Он должен сейчас танцевать от восторга. Один? Да, один! Почему нельзя? Ее зовут Марго. Вот это имя! Она, наверное, Венера, которая сбежала ночью из американского Лувра. Зачем он пил шампанское с искрами, когда он и так сходит с ума? Арабка, не трясись! Что она делает? Она целует его в ухо! Вы понимаете: в ухо Ройтшванца, в это жалкое гомельское ухо дышит сумасшедшая богиня! Лестница? Хорошо, он поднимается. Он будет реветь от счастья, как антилопа. Нельзя реветь? Спят? Кто может спать, когда уже землетрясение?

Войдя в комнату, Марго упала на диван и стала истерически хохотать.

— Я сейчас умру от смеха... Я еще никогда не видала такого чудака!..

А Лазик благоговейно говорил:

— В этом раю я буду ходить только на цыпочках.

Насмеявшись, Марго деловито сказала:

— Цветочное подношение ты сделаешь не завтра, а сейчас. Это вернее. Мы ведь пили шампанское. Ты не понимаешь? Но ты ведь сам мне сказал. Тысячу. Да, да! Я тебя не знаю. Не хочешь? Тогда можешь убираться. Я не знаю, к каким порядкам ты привык, но у меня полагается до. Понял?

— Что за обязательная афиша? Конечно, если выдумать сто церемоний, то вообще можно перестать жить. Я вам скажу, что набожный еврей должен перед тем, как он поспит с женой, вымыть руки и после этого снова по-

мыть руки. Перед, потому что ему предстоит настоящее богоугодное дело, а после, потому что он, конечно, делает богоугодное дело, но ведь он трогает такую небогоугодную вещь, как, скажем, совершенно голый живот. Это очень тонко придумано. Но что же получается в итоге? Вместо самой великой любви какой-то сплошной рукомойник. Вы ведь не соблюдаете обрядов. Почему же вы меня мучаете разными «до» и «после»? Хорошо, я вам дам эти бумажные орхидеи, но не терзайте мое скачущее сердце постыдной бухгалтерией.

Спрятав деньги, Марго стала раздеваться.

— Малыш! Идем спать...

Тогда Лазик окончательно протрезвел.

— Одно из двух: или вы сбежавшая Венера, или вы стопроцентная марксистка и посещали лекции товарища Триваса. Что значит «идем спать», когда я дорожу розовыми предпосылками? Я хочу с вами порхать и щебетать, и говорить о любви, и петь вам колыбельные песенки, и носить вас на руках, как тихую былинку, и умереть от того, что это не жизнь, а рай. И вот вы предлагаете мне голые функции. Но вы же не госпожа Дрекенкопф! Ваше имя уже благоухает, не говоря о губах. Если вам хочется спать, спите. А я буду сидеть в этом кресле и заслонять вас ладонью от ветра, чтобы он не развеял мой предпоследний идеал.

Марго махнула рукой.

— Черт с тобой — сиди! Очень ты мне нужен! Блоха!

Ее мутило от вина и от усталости. Приняв горячую ванну, она легла и быстро уснула.

Лазик сидел и вздыхал. На земле нет справедливости. Нюся сказал ему, что он клоп. Марго спустила его на блоху. Разве в росте дело? Его любовь такая великая, как научная башня. Но они этого не понимают. Если в Лувре стоит какая-то Венера, американцы ведь не хватают ее пальцами. Они платят за вход, и они плачут от счастья, что они в одной комнате с этим безусловным камнем. Хорошо, пусть я блоха! Но я не буду сразу лезть в небесный пейзаж со своим кустарным производством. Я буду лучше чувствовать, что я сижу рядом с ней. Я буду глядеть на это ослепление...

И Лазик взглянул на спящую Марго: Тогда раздался писк, полный отчаяния:

— Умоляю вас, скорее проснитесь! Вас обокрали! Это какой-то мистический туман! Где ваши длинные глаза?

Где ваши первомайские губы? Где ваши брови, черные, как мой страх? Или это я ослеп от новобрачного ожидания? Ответьте мне скорее, не то я созову весь дом, чтоб они меня посадили в сумасшедшую клинику!

Марго терла глаза и перепуганно смотрела на Лазика. Сообразив наконец, в чем дело, она стала ругаться:

— Проходимец! Босьяк! Ты недаром выклянчивал франки. Ты думаешь, если ты украл у кого-нибудь тыщонку, то можешь себе все позволить? Что я, манекен? Я должна с тобой петь детские песенки? Идиот! Ты думаешь, что я буду спать намазанная? А что станет с моей кожей? Скотина! Ты хочешь, чтоб я себя изуродовала за тысячу франков? Подлец!

— Тсс! Остановитесь в списке! Я уже понял. Значит, вы сочный холст, и каждый сантиметр гудит. Вас, наверное, пачкает Монькин, потому что у него самая богатая палитра. А ночью вы — как госпожа Дрекенкопф. Вся разница в том, что клецки теперь у меня. Какой ужас! Вы ведь как моя тетя. Нё она торговала в Глухове яйцами. А вы? Чтобы женщина в таком почетном возрасте стояла бы на подрамке, и чтоб ее кололи кисточкой, и чтобы потом она прыгала в кафе, как угорелая девчонка, ради одного подлога, но ведь это же не гомельская пенсия инвалиду труда, а только бездушный хохот из Мефистофеля.

Едва Лазик успел закончить свою трогательную речь, как в него полетели различные предметы. Взбешенная Марго не колебалась в выборе снарядов. Осколок горшка расшиб нос Лазика.

Спускаясь по лестнице, Лазик старался не вздыхать: они ведь спят среди землетрясения. Но было уже утро, привратница остановила его:

— Откуда вы идете? Почему у вас на лице кровь?

Лазик попытался резонно объяснить ей, в чем дело:

— Последнее время меня преследуют изделия этого Ахилла Гонбюиссона. Что делать — от своей судьбы не ускачешь. Теперь господин Луи Кон будет меня ругать — я ведь испортил его трехспальные штаны, не говоря уже о носе. Но, если вы не спите, я громко вздохну. Я вздохну не из-за носа. Нос привык. Я вздохну как философ, потому что произошло полное раздвоение, и я не знаю, с каким воспоминанием мне жить? С одной стороны — Венера, а с другой — инвалид труда, и все вместе — это моя любовь на пятом этаже слева, которая еще живет и трепещет. Вы, мадам, похожи на мою проклятую судьбу, у вас

даже метла наготове. Скажите мне просто, что такое жизнь, и любовь, и погасшие звезды?

Увы, привратница вместо высокой философии прибегла к не к добру помянутой метле.



О господину Луи Кону было двадцать восемь лет, но он отличался мудростью и широтой взглядов. От отца, фабриканта овощных консервов, унаследовал он круглую сумму. Он стремился истратить ее весело и непринужденно. Он любил, чтоб об его странностях писали в хронике светских газет. Лазик сменил злополучного лангуста, которого Кон таскал за собой на цепочке по Елисейским полям.

— Ах, вы русский? Вы, наверное, большевик? Это хорошо. Мы задыхаемся среди академизма. Я знал Расина уже в колыбели. Третья республика — это царство мелких лавочников. Вы будете для меня зовом с востока. Ведь в ваших глазах горит революционный мистицизм. О, как бы я хотел увидеть вашу Красную площадь, когда китайцы присягают Шарлю Марксу, а женщины в шароварах исполняют половецкий танец! Я обожаю неожиданность, джазбанд, революцию, синкоп! Недавно я ужинал у виконтессы Писстро, и там я неожиданно, после фазана, вытащил из кармана красный флаг. Я выкинул его перед всеми изумленными академиками. Об этом даже писали в «Фигаро» как о злой шутке. Но это далеко не шутка. Парламент меня боится, потому что я, Луи Кон, — коммунист.

Лазик совсем растерялся.

— Ужасно трудно путешествовать, когда не знаешь готовых оборотов. Дождь, конечно, повсюду дождь. Но вот с политикой будет похуже. Я бы сказал по виду, что вы — наоборот. Но если у вас здесь такая дисциплина, тем лучше. Я был в Киеве кандидатом, и там я сорвался, но здесь я, наверное, пролезу. Как будто я не сумею выкинуть флаг после фазана! Скажите, значит, у вас нет контрольной комиссии? И вы можете танцевать, заходя куда угодно ногой? И вас не заставляют целый день заполнять анкету? Но тогда запишите меня скорей в эту замечательную ячейку!

— Фи! Как же можно входить в какую-то партию! Ведь это значит соприкасаться с чернью. Это — все равно что ездить в трамвае. Я — духовный большевик. Я люблю все, что идет с востока. Скажите, кстати, вы не буддист? Жаль! У меня в столовой Будда пятого века. Вы могли бы перед ним молиться. Я ведь никогда еще не видел, как молится живой буддист. Это должно быть очень пикантно. Ах, вы еврей? Это неинтересно. Это религия мелких лавочников. Тогда знаете что — примите католицизм. Я обожаю культ Святой Розы. Конечно, идея бога это для тех, кто ездит в трамвае. Но ведь остается образ непорочного зачатия, мистические пророчества, туман. Наконец, что делать — это модно. Не стану же я ходить в узких брюках или в длинном пиджаке! Словом, в ближайшее воскресенье я буду вашим крестным отцом, а виконтесса Писстро, вашей крестной матерью.

— Если в этом — вся моя служба, пожалуйста. Я — настоящий двадцатый век, и после фазана я могу даже молиться перед вашим пикантным Буддой, если вы только напишете мне заранее все слова. Вы обязательно хотите, чтоб я влез в этот непорочный туман? Я влезу. У вас, кажется, это проходит без особых операций, и я понимаю, легче, чтобы меня выкупала в мистической воде эта моя виконтессная мама, чем чтобы, скажем, вас обрезали мелкие лавочники. Точка. Я уже большевистский католик. Теперь скажите, что я должен в точности делать как ваш ученый секретарь?

— Не говорите так громко и так быстро. У меня делается мигрень. Вы должны говорить так, чтобы все чувствовали, что вы между двумя словами готовы умереть от безразличья. Это гораздо вежливей. Только изредка, когда я буду кивать головой, вы можете проявлять ваш восточный темперамент. Среди ваших обязанностей одна из первых — обедать со мной.

Лазик просиял, но так как Луи Кон не кивал головой, он превозмог свои чувства. Они поехали в ресторан. Метрдотель, который, видимо, хорошо знал Луи Кона, сразу записал: «Лапша на воде и яблочное пюре». Потом он спросил:

— Что будет есть господин?

— Вот этим мы сейчас займемся.

Луи Кон изучал карточку не менее часа. Лазик изо всех сил пытался удержать обильные слюнки. Наконец обед был заказан.

— Мой друг, вы общаетесь к великому искусству. Я не буду развивать вам философские системы Саварена. Но что такое вся эстетика, поэзия, мораль, чарльстон, синкоп, вторая реальность, граф Лотремон, наконец, моя усмешка? Это только достижения поваров. Четыре года тому назад мне подали в ресторане «Пе-де-Нон» пулярку метра Эмиля. Она была фарширована дичьей печенкой с трюфелями и апельсинами, под соусом из хереса шестьдесят третьего года, и в ее окружение входили доньшки артишоков по-тулузски, то есть в белом вине, со взбитыми яйцами. Я помню этот день как поэму революции, как первый аккорд Стравинского, как облатку святой ехаристии. Я изучил все блюда Франции, и я мог стать первым знатоком хотя бы перигорских паштетов. Но, увы, мы все, из рода Конов, отличаемся деликатным телосложением. Я заболел гастритом, энтеритом, нефритом, артритом, подагрой. Я могу есть только лапшу на воде и яблочное пюре; вместо вина — минеральная водичка. Я страдаю, как ослепший живописец, ведь я хорошо помню вкус любого соуса, и я никогда не ошибусь в годе «Лафита». Что же, я решил углубить эти муки. Я буду кормить вас самыми изысканными яствами, я буду наслаждаться вашим восторгом неопита, нюхать омара или камамбер и объяснять вам всю торжественность каждой минуты. Я превращу ваши обеды в богослужение. Что вам подали? Маренские устрицы? Не глотайте! Медленно жуйте! Это говорит с вашим небом Атлантика. Глоток «Шабли». Оно полно осенней сухости и свежести. Утренний холодок тронул гроздь. Вы слышите легкий привкус дроби? Сейчас вам подадут пятнистую форель, а к ней сухое «Вувре» 21 года. Оно молодое, но в нем цветы Лауры, в нем смех Рабле, в нем...

Лазик больше не слушал Кона. Честно поглощал он все, что ему приносили лакеи. Но после шестого блюда он не выдержал. Отодвинув тарелку с фазаном, он вежливо поблагодарил как метрдотеля, так и Кона.

— Мерси. Это странно, но аппетит тоже кончается. Теперь мы можем поговорить с вами о чем-нибудь очень высоком, например, об этом половецком синкопе, я тут что-то не понял. Почему у вас сначала идет Красная площадь, а потом вдруг оказывается непорочное зачатие? У нас в Гомеле вас бы за это не погладили по головке.

— Мода, друг мой, мода. Истинная свобода состоит в подчинении. Те, что ездят в трамваях, подчиняются по-

шлой морали, а мы, избранные, подчиняемся моде. Теперь надо быть слегка большевиком, слегка католиком. Это неуловимые нюансы, как перец, мед, пикули и мараскин в соусе «Клеридж». Не стану же я танцевать уанстеп или играть в крокет, когда теперь модны блекботом и гольф. Но напрасно вы отодвигаете тарелку: я ведь только вхожу во вкус, вам предстоит еще девять блюд. Этот фазан пахнет, как пророчества Нострадамуса. Он пахнет сладостным разложением всей латинской культуры. Я ручаюсь, что они его выдерживали не менее недели в тепле. Он постепенно приобретал этот «букет». Понюхайте! Вы слышите дыхание смерти, мифологических грибов, рокфора, тысячелетнего сна?

Лазик осторожно понюхал птицу и взвыл:

— Я теперь понимаю, почему вы начали после фазана выкидывать разные флаги! От такого аромата вообще легко умереть. По крайней мере, со мной уже начинается этот половецкий синкоп. Вы знаете, чем это пахнет? У нас в Гомеле выезжает одна нахальная бочка и...

— Замолчите! Возьмите лапку! Вы обязаны. Не забывайте: вы мой личный секретарь. Глоток «Шамбертена». Это 91 год. Он обволакивает — вы слышите? Он слегка вяжет душу. Он горячит. Это земля Бургундии, не юг и не север, сердце культуры, двадцать веков, потом разрыв, затмение, бездна, синкоп, и вот в последнюю минуту двести замшелых бутылки...

Лазик еле дышал. Его лицо стало сперва багровым, потом фиолетовым. А лакеи все меняли тарелки и бокалы, готовя новые пытки. Лазик покорно ел ипил: что делать, если это его служба! Он уже ничего не видел. Ему казалось, что на блюдах лежат Будды, синкопы и двадцать латинских веков. Вдруг что-то ударило его в нос, как нашатырный спирт. Кон вдохновенно шептал:

— Это — сыр «Ливаро». Его держат несколько лет в золотом навозе... Там он бродит, как отчаянье. Он становится ароматным и щемящим сердце. Нюхайте его! Нюхайте скорее!

Все плыло перед Лазиком. Ему почудилось, что сыр вертится. Он поглядел на бутылки — они кланялись. А Кон? Кон кивал головой. Вот что!.. Значит, теперь он свободен!.. Лазик вскочил и в восторге закричал:

— Заберите сейчас же отсюда эту бочку!

Напрасно Луи Кон пытался его успокоить:

— На нас все смотрят... Это неприлично.

— Пусть смотрят. Зачем вы меня поили? И что это за выходки? Вместо порядочных битков дать человеку тридцать раз синкоп с запахами! Если он не заберет эту гомельскую мадам подальше от моего носа, я ее брошу в какую-нибудь виконтессу. Ну да, я пьян. А что вы думаете? Можно не быть пьяным после таких обволакиваний? Я сидел спокойно, но вы кивнули головой, и тогда начался мой темперамент. Вы не кивали? Тогда это Шамбертен кивал. Одним словом, ведите меня скорей, и прямо к цели!..

Первый опыт не удался, но Луи Кон не отчаивался: у этого лилипута чудовищный темперамент. Два дня спустя он повел Лазика в «Институт красоты». Увидев кресло с винтами, ланцеты, банки, флаконы, электрические аппараты, Лазик упал на колени перед массажисткой.

— Ради, скажем, Будды, пощадите Ройтшванца! Что вы хотите со мной делать? Вырезать кусок здоровой кишки или сразу убить меня лампочкой, как в замечательной Америке?

— Не бойтесь. Сначала мы разгладим некоторые морщинки. Это совершенно безболезненно. У нас четыре тысячи свидетельств. Сядьте сюда. Откиньте лицо. Забудьтесь!

Лазик сел. Он попробовал забыться. Но куда тут! Ведь его переделывали, как безответственный сюртук! Хорошо, пусть они разглаживают морщины каким-нибудь утюгом. Посмотрим, что из этого выйдет. Как будто можно стереть все его несчастье — от мадам Пуке до уборной ресторана «Пе-де-Нон»! Трите, трите, все равно горе останется горем и Ройтшванец — Ройтшванцом! Вы его не сделаете ни Буддой, ни Шамбертеном...

Вдруг Лазик вздрогнул от неприятной и достаточно знакомой ему боли. Массажистка теперь приплющивала его нос.

— Что вы хотите от моего придатка? Вы же не Ахилл Гонбюиссон. На нем вовсе нет морщин. Морщины — на лбу. Перестаньте! Он у меня не из гуттаперчи!

— Не волнуйтесь. Это очень легкая операция. Я приступаю теперь к укорачиванию вашего носа.

Лазик скатился с кресла. Кувыркаясь по полу в больничном халате, он вопил:

— Это вам не пройдет! Мой нос не брюки, и я объявляю полную забастовку. Он вовсе никому не мешает,

чтоб его стричь. Я, кажется, не пихал вас моим носом, и я никого не пихал. Меня пихали. А может быть, я хочу, чтоб он был длинным. Фамилию я обрезал, но это же надстройка. Откуда вы знаете, может быть, я когда-нибудь вернусь к себе на родину? Меня же никто не узнает с коротким носом, ни Пфейфер, ни Фенечка Гершанович. Меня не узнает даже эта Пуке. Я не отдаю вам моей личности!.. Стригите ваши синкопы!.. Вот вам постыдный капот, и до без всякого свидания!

Вечером Луи Кон строго сказал ему:

— Мой друг, вы у меня уже пять дней, и я вами недоволен. Вы не сделали никаких успехов в области гастрономии. В «Селекте», после одного коктейля, вы начали целовать бармена, хоть я просил вас ухаживать за мной, потому что это теперь модно. В «Институте красоты» вы просто показали себя дикарем...

— Но ведь вы сами хотите от меня половецких штучек.

— Не перебивайте!.. Вы манкируете обязанностями личного секретаря. Сейчас я подвергну вас последнему испытанию. Глядите.

Луи Кон подвел Лазика к приоткрытой двери. В соседней комнате сидела молодая женщина, совершенно голая. Лениво зевая, она курила папироску. Лазик деликатно закрыл глаза.

— Очень симпатичная особа. Я только советую вам следить за ней, чтобы она не украла у себя глаза или губы. Третьего дня я узнал, что такие штучки бывают. Но вы, конечно, опытный спец, и у вас все будет, как в романе Кюроза. Я желаю вам вполне спокойной ночи.

— Вы начинаете выводить меня из себя. У меня мигрень. Дайте мне порошки. Может быть, вы думаете, что я показываю вам ее для вашего удовольствия? Сейчас вы должны приступить к самой ответственной обязанности личного секретаря. Вы знаете, что мы — Коны — деликатного сложения. Я славился моими победами. Увы, теперь я обречен на бессрочную диету... Словом, вы будете играть с моей новой подругой, а я буду глядеть на вас и переживать каждое движение. Я жажду чувственной боли. Поняли?..

— Кажется, понял.

Лазик вежливо поздоровался с дамой.

— Я — Шванс. Личный секретарь. Пожалуйста, не стесняйтесь. Архип Стойкий, тот, например, совсем не

стеснялся. Скажем, что вы сейчас загораете. И вообще, я смотрю не на вас, а на потолок. Скажите, вы тоже вроде личного секретаря? А вы не должны каждый день нюхать этот нахальный сыр? Я вам скажу что-то шепотом, он ведь сидит у двери: главное, не давайте укорачивать нос. Это полная пытка. Но что мы болтаем, когда мы должны работать. Я вот только не знаю, какие здесь игры, потому что у нас в Гомеле играют, скажем, в стуколку или в шестьдесят шесть. Впрочем, я не вижу даже карт...

Выбежав, Лазик деловито спросил Луи Кона:

— Почему же там нет колоды?

Впервые Кон вышел из себя:

— Вы меня убьете!.. Мигрень... Не помогают даже порошки. Я, кажется, в вас ошибся... Где же ваш темперамент? Выпейте этот коктейль для храбрости. Теперь идите скорее к ней!.. Я больше не могу ждать! Как вы можете спокойно сидеть, когда рядом с вами голая девушка? Вы должны с ней резвиться!

Лазик задумался.

— Нечего сказать — проблема! Оказывается — не карты, потому что вы без шубы. Ну да, вам, наверное, холодно сидеть на одном месте. Что же, будем резвиться. Я только не помню, как это делается. Кажется, «в кошки и мышки». Вы прыгайте, и я буду прыгать, но вы еще мяукайте, а я, например, залезу под этот диван и буду перепуганной мышкой.

Лазик исправно забрался под кушетку и стал там тихо пиццать. Тогда Луи Кон не выдержал. Он сам вбежал в комнату:

— Идиот!.. Это — темперамент?.. О, если бы я мог!.. Сейчас же вылезайте! Выпейте еще коктейль. Выпили? Ну, а теперь за работу! Когда не нужно, вы показываете свои варварские повадки... Я вам приказываю: покажите себя свободным дикарем! Делайте все, что хотите!.. Я умираю... Я жажду боли!..

— Что же, если вы киваете головой, после таких двух обволакиваний я могу стать и нахалом. Во-первых, дорогая мадам, я вас умоляю, сейчас же наденьте на себя хоть купальные брюки, потому что вы не Венера, а здесь не американский Лувр. Я, между прочим, влюблен в Марго Шике, хоть она инвалид труда, и сердце у меня уже занято. Но вы ведь, наверное, любите цветочные подношения, так вот вам полный бумажник этого синкопа, и поезжайте себе домой. Это — раз. А вы, главный синкоп, ложи-

тес-ка на диван вашим половецким лицом вниз, и вы можете даже быть не как дома, то есть снять брюки, у меня есть хорошие подтяжки, и я вам в два счета устрою такую чувственную боль, что вы начнете молиться перед каждым Буддой. Что? Вы не хотите? Но я должен быть дикарем? Хорошо. Вот вам в лицо — начнем с пепельницы. Теперь получайте эти орхидеи с горшком. Теперь я уже могу перейти к Будде, если он весит пять веков.

На звонок пришел лакей, седой и важный.

— Жак, вы будете временно исполнять обязанности моего личного секретаря. Сейчас вы останетесь с дамой. Но прежде всего выкиньте этого негодяя и поучите его хорошенько на прощанье...



Снова настали для Лазика черные дни. Он был и судомойкой в ресторане, и грумом в ярмарочном балагане, он вертел шарманку, он продавал китайские орешки; время от времени его арестовывали, били, потом выпускали.

Один раз его выслали. Доехав до бельгийской границы, он грустно вздохнул: «Начнется игра в мячик...» Сел во встречный поезд и поехал без билета назад. По дороге его выкинули. Он продал костюм Луи Кона и вернулся в Париж.

Не раз, ночуя под мостом, он ругал себя:

— Идиот, почему ты тогда не доел этого вонючего фазана?..

Часто ходил он в еврейский квартал, на улицу Розье. Когда бывали деньги, он пил там чай, ел рубленую селедку и вел философские беседы: о Талмуде, о госпоже Дрекенкопф, о большевиках. Там как-то встретился он с гомельчанином. Выслушав рассказ о франкфуртских приключениях Лазика, Янкелевич воскликнул:

— Охота вам пропадать под мокрым мостом, когда вы можете жить, как Чемберлен! Я был в Лондоне, и я это знаю. У вас, кажется, на плечах голова, а не что-нибудь. Так поезжайте сейчас же в Лондон к мистеру Ботомголау. Вы выйдете от него благородным миссионером, потому что он первый великобританский болван.

Как будто Менька Жмеркин не жил этими проповедями ровно четыре года!..

Что же, мысль была не плоха. Но как добраться до Лондона? Денег нужно не так уж много. Допустим, что он снова станет грумом, или обезьяной, или самим чертом. Он может наконец объявить на неделю «Иом-Кипур». Словом, деньги он наскребет. А паспорт?..

— Паспорт вы можете получить в Лиге Наций.

Вспомнив незабвенного папа ротмистра, Лазик смутился:

— Это же, кажется, «Лига» с небольшими побоями?

— Ничего подобного, вы положите на бочку сто франков, и вы войдете в эту Лигу как самая благоприятная нация. Но, может быть, вам выгоднее стать румыном, потому что эти Чемберлены обожают румын, а за те же сто франков вы сможете стать восторженным бессарабцем и получить румынский паспорт с самой королевой на задку.

Не прошло и двух месяцев, как Лазик стоял перед мистером Ботомголау.

— Что вы хотите, брат во Христе?

— Я хочу подкрепиться. Я снова говорю совсем не то. Это от мистического смущения. Я хочу, наоборот, взять на себя торжественную миссию. Я еще не знаю толком, как это делается, потому что с Янкелевичем мы говорили больше о паспортах, но вы сейчас мне все объясните, и я выйду от вас с миссией в шляпе. Чем я хуже какого-то Жмеркина?

Мистер Ботомголау сладко улыбнулся, и улыбка эта успокоила Лазика: нет, Янкелевич не подвел его! Так не улыбался даже одноглазый Натик, на что уж тот был глуп.

— Скажите вашим братьям, что Израиль заблудился. Он дал миру Ветхий завет, но потом он побивал апостолов камнями. Наша церковь — дочь синагоги. Пора блудному сыну вернуться в лоно! Мы встречаем прозревших иудеев с раскрытыми объятиями. Мы прижимаем их к сердцу. Наш дом — их дом. Святое писание уже переведено на шестьсот семьдесят восемь языков, и мы его распространяем повсюду. Пусть иудеи придут как желанные гости на пир. Вы знаете их нравы и обряды. Вы осторожно войдете в их доверие, и вы их поведете на Христово празднество. Наш завет прост: святое крещение, любовь, воздержание от крепких напитков, целомуд-

рие, воскресная тишина. Скажите им, пусть они торопятся...

С готовностью Лазик ответил:

— Скажу! Обязательно скажу! А теперь перейдем к делу. Я вот только не знаю, как вас называть, потому что «брат» — это уже чересчур. Мы, знаете, и лицом не похожи друг на друга. Может быть, я обойдусь одним «кузеном»?

— Называйте меня просто мистер Ботомголау.

— Ну, чтоб это было очень просто для еврея из Гомеля, я не скажу, но я перескочу через любые звуки. А вы меня, кстати, называйте мистер Ройтшвенч. Так вот что, мистер Ботомголау, я буду все это говорить по знакомству, и меня будут слушать прямо-таки как Мойсея, я ведь главный франкфуртский раввин. Но вопрос не в том. Я, например, в Лондоне уже четыре дня, и я еще ни разу не обедал. Так я хочу сразу на ваш пир. Если у вас без вина, то это еще полбеды; во-первых, можно зайти по дороге в бар, а во-вторых, я признаю даже самый слабый напиток, например, чай с молоком. У меня при одном этом слове текут слюнки. Скорее жмите меня к сердцу и ведите в этот дом!

— Дитя, вы путаете небесные богатства с земными. У меня четыре дома и две фабрики, у меня небольшой капитал, но я душой, может быть, беднее вас. А сказано: «Блаженны нищие духом». Не забывайте, брат мой, духом! Поэтому за себя я спокоен. Идите же скорее к заблудшим братьям и скажите им, что Мессия уже пришел. Они его не заметили. Это ужас!..

Мистер Ботомголау заплакал, Лазик стал утешать его:

— Не выливайте столько слез! Это — бывает. Они не заметили, потому что они страшно рассеянны. Они в это время, наверное, кушали костлявую рыбу или даже спали последним сном. Но я им скажу, что он уже пришел. Только ответьте мне без целомудренных намеков: вы мне дадите аванс или нет? Я же богатый духом, но без всякой фабрики. Интересно, как вы вообще платите: помесечно или поштучно, то есть за каждого блудного внука?

— Вы будете получать шестнадцать шиллингов в неделю. Вот вам один фунт, чтобы вы корректно оделись. Теперь можете идти.

Лазик вежливо раскланялся. Уходя, он, однако, вспомнил о главном:

— А где лоно?

— Какое лоно?

— Да вы ведь сами сказали, что их нужно тащить в какое-то лоно. Так дайте мне точный адрес.

Мистер Ботомголау только печально махнул рукой.

Лазик немедленно принялся за выполнение своих обязанностей. Он пошел в Уайт-Чепль. Нищета? Но разве он не видел на своем веку нищеты? И все же он ахнул, увидев темные трущобы, лохмотья и голодные лица обитателей этого квартала. Он даже, забыв об осторожности, вздохнул вслух:

— Нечего сказать, хорошенькая Великобритания. Все-таки теперь я вижу, что наш Гомель — это настоящий шик.

Впрочем, никто не слышал столь подозрительных суждений. Женщины, толпившиеся вокруг, сушили пеленки, подбирали картофельную кожуру и переругивались. Без труда Лазик разыскал десяток голодных евреев.

— Начнем сначала, то есть пойдем в этот пахучий ресторан. Что здесь люди едят? Хорошо? Десять порций мяса с картофельным пудингом и десять бутылок пива! Теперь можно поговорить о планах. Я же не нахал, чтобы пировать в одиночку. Мне сказал Янкелевич, а я уже предлагаю вам стройную организацию. У этого болвана четыре фабрики и шестьсот семьдесят восемь изданий. Что он хочет, этого нельзя понять, и потом, это даже неинтересно, потому что, я же говорю вам, он роскошный болван. Но у него фантазии, и он все больше загибает насчет родства, я ему и брат, и блудный сын, и еще какое-то место, а синагога — мать церкви, а кто в синагоге — сразу его церковные дети, одним словом, он даже не умеет разобрать, где отец и где сын. Но я вас поведу к нему в лоно, и вы кричите, что вы были блудные, а теперь хотите сплошного целомудрия. Потом он, наверное, начнет вас жать к сердцу, так вы не пихайте его, потому что это такой нахальный меланхолик, и если его отпихнуть, он весь обольется слезами. Поняли? А потом он даст вам что-нибудь, и, кроме того, я сейчас плачу за всю музыку. Идет?

Надо ли говорить, что предложение Лазика было принято единогласно? Горделиво улыбаясь, привел Лазик всю компанию к мистеру Ботомголау.

— Я уже сказал им. Видите, как быстро? У меня не голос, а Иерихонская труба с Синая. Это вполне понятно,

потому что они ничего не ели. Это же богатые духом и без всякого блаженства. Пожалуйста, жмите их уже скорее к сердцу, и пусть они тоже что-нибудь получают, потому что я ухлопал на десять порций весь ваш корректный фунт.

Надежды Лазика не оправдались. Мистер Ботомголау вздохнул:

— Вы им не сказали главного: вы им не сказали, что не единым хлебом жив человек. Я вижу, брат мой, что вы еще мало подготовлены к вашей высокой миссии. Вот вам несколько душеспасительных книг. Я вам советую прежде всего внимательно прочесть их. После этого вы сможете проповедовать, толкуя набранные крупным шрифтом тексты. В субботу мы вам предоставим небольшой зал. Вы соберете этих прозревших овец, и вы ослепите их божьим словом. А теперь ступайте, мои дети! Меня ждут китайцы, которые тоже жаждут прозреть.

Лазик попробовал было заикнуться:

— А как же с покойным фунтом? Он ведь ушел на этих полуслепых овец.

Но мистер Ботомголау одарил его только новым поучением:

— Не забывайте, кстати, мой брат, что пиво — это тоже крепкий напиток.

Выйдя на улицу, Лазик обвел свое стадо торжествующим взглядом.

— Ну, что я вам говорил? Вы, может быть, скажете, что вы видели где-нибудь подобного болвана? Я только не понимаю, почему у него такой нервный нос? Он догадался о пиве. На это его хватило. Но с родством он снова напутал. Я — его брат, а вы — его дети, значит, вы — мои дорогие племянники. Он сам не знает, что ему нужно. То он хочет, чтоб я вас слепил, как последний злодей, то он хочет, чтобы вы сразу прозрели. Но мы его все-таки перехитрим. В субботу зовите туда всех, у кого только хорошенький оркестр в желудке. Я скажу такую грохочущую проповедь, что даже стены будут бляеть, как овцы. Тогда-то мы с него получим все сто фунтов. А пока что купим хлеба на духовный ужин, потому что от фунта еще остался крохотный осколок.

Помещение общества «Спасенный Израиль» было в субботу переполнено. Память о картофельном пудинге и разговоры о четырех домах мистера Ботомголау вско-

лыхнули Уайт-Чепль. Лазик весело вскарабкался на кафедре:

— Тсс! Третий звонок! Я вижу, что труппа пользуется неслыханным успехом. В Гомеле даже московская оперетка не собирает столько голов. Ну, я начинаю. Ненаглядные овцы, и ты, спасенный Израиль Мовшед, знаменитый сват нашего золотого Гомеля, здравствуйте! Сейчас я буду толковать крупный шрифт. Только я попрошу вас об одном. Пожалуйста, ради моего и ради вашего аппетита не сидите, как бревна. Когда я вам скажу «ослепните», закрывайте сразу глаза, потому что вам ударило в нос спасительное слово, а когда я крикну «прозревайте», то глядите в оба, пусть у вас глаза даже лезут на лоб, потому что от второго слова происходит хирургическая операция. Поняли? Кто не понял, пусть поднимет одну руку. Хорошо, опустите три заблудших руки и подавляющим большинством слушайте. Крупный шрифт номер один: «Израиль, гляди — Мессия, о котором говорили пророки и которого ты ждешь, давно пришел». Крупная точка, и можете ослепнуть, а я буду толковать. Пророки, конечно, издавали возгласы. Живи они теперь, их, наверное, посадили бы в тюрьму. О чем они кричали, эти сумасшедшие агитаторы? Мы же учились в хедере, и мы знаем их номера. Они, например, шумели, что все на земле не так, и что сильный обижает слабого, что правду можно спрятать в глубокий карман, как будто это газета, что у одних много, а у других мало, и что это просто вавилонское свинство. Они, конечно, тонко намекали, что может произойти полное наоборот. Вдруг придет Мессия, и тогда начнется замечательная справедливость. Ротшильд выйдет себе пастись на лужайку вместе с вами, и ему пудинг и вам пудинг, пан ротмистр или, скажем, миссис Пуке перестанут хватать Ройтшванца за больные места, а вместо пограничной стражи расцветут безусловные орхидеи. Конечно, Мессия — это тонкий псевдоним. Что же получилось: оказывается, он уже пришел. Странно подумать, что мы его не заметили! Скорее прозрейте, включая три руки меньшинства! Разве вы не видите, что на земле стопроцентная справедливость? У мистера Ботомголау, например, четыре дома, но они ему не нужны, он живет в духовных облаках, он же нищий духом. Вы спросите, почему он не отдает вам этих домов? Потому что он вас жалеет. Если у вас будет кровать с периной, вы станете тоже нищими духом, а пока вы просто

нищие. Но я вас умоляю, погуляйте по роскошному Лондону, и вы увидите, что Мессия уже пришел. Вы скажете, что Ротшильд еще не пасется? Но он не овца. Он кушает курицу. А если у вас есть завалившиеся фунты, вы тоже можете кушать курицу, совсем как он. Но если даже у вас нет фунтов, то у вас есть вексель на загробный рай, это сказано в девятом шрифте, и вы можете учесть этот вексель в любом банке. Потом, у вас свобода слова. Вы можете, например, сказать: «Мне так хочется кушать», — и никто на это слова не возразит. Что касается заноз, то не надо лезть на занозы, надо уважать чужую личность. У нас в Гомеле был один маклер Гурчик. Так вот, он однажды сидел и кушал гуся с гречневой кашей, а к окну подошел нищий и стал просить хлеба. Тогда Гурчик произнес целый крупный шрифт: «Эти нахалы сами не едят и другим не дают». Я, например, сам виноват, я схватил в Киеве не ту ногу. Словом, на всей земле стоит неслыханная свобода, и мистер Ботомголау всех жмет к сердцу, и я считаю единогласно принятым, что Мессия уже пришел. А для колеблющихся элементов я читаю в седьмом тексте, что он снова придет, и это называется «второе пришествие». Если у него такие блестящие результаты, я думаю, он может ходить без конца. Так пусть он ходит, а мы пойдем на пир. Я предупреждаю, что если идти не вприпрыжку, так этот болван отдаст все жаждущим китайцам, потому что они тоже знают дорогу в его лоно. Составим резолюцию с подписью. Скажем, что мы его братья, и дети, и внуки, и даже отцы, только чтоб он откопнул нам от своей фабрики несколько золотых кирпичиков, потому что в крупном шрифте номер четыре прямо сказано, что голодных надо кормить и даже одевать в свою последнюю рубашку, а у него, наверное, есть предпоследняя, так пусть одевает и пусть кормит, если мы единогласно такие голодные, что мою проповедь заглушает сплошная опера в ста животах. Значит...

Закончить Лазику не удалось. Протиснувшись среди толпы, к нему подошел некто, бедно одетый и ничем с виду не отличавшийся от других слушателей. Строго сказал он:

— Следуйте за мной.

— Куда? Если в лоно, так туда я сам знаю дорогу, и вообще, там жалование выдают только по понедельникам.

Тогда настойчивый незнакомец показал Лазику ка-

кую-то карточку. Лазик посмотрел и негодуяюще воскликнул:

— Я еще не Чемберлен, чтобы уметь сразу читать эти великобританские любезности! Но я уже кое-что понимаю. Скажите мне просто, куда я должен следовать — туда или не туда?

Но сыщик, не зная о богатом опыте Лазика, ответил официально:

— Я — представитель Скотланд-Ярда. Вы арестованы как большевистский агитатор.



Мистер Роттентон сразу ошарашил Лазика:

— Вы — большевистский курьер. Вы направлялись из Архангельска в Ливерпуль. Вы везли секретные фонды коминтерна, а также письмо Троцкого к двум непорядочным англичанам. При аресте вы успели передать деньги члену преступной шайки и проглотить документ.

Последнее показалось Лазику чрезвычайно смешным. Хоть стриженные усы мистера Роттентона сурово топорщились, Лазик не выдержал: он расхохотался.

— Я же понимаю, куда вы гнете!.. Вы хотите меня обвинить в том, что я кушаю важную бумагу. До этого не дошли даже паны ротмистры. Это так смешно, что я давлюсь, хоть, может быть, это мои фатальные звуки. Неужели вам приходят такие штучки в голову? Но вы же тогда настоящий комик с обеспеченными гастролями. Лазик Ройтшванец, мужеский портной из самого обыкновенного Гомеля, где все кушают котлеты или зразы, или хотя бы голубцы, питается исписанными листочками! Нет, мистер... как вас, хоть я и дублировал два дня заболевшую обезьяну, на это я еще не способен.

— Вы напрасно отпираетесь. Я предлагаю вам указать местонахождение секретных фондов, а также восстановить содержание проглоченного документа.

— Послушайте, может быть, «документы» — это тоже псевдоним, вроде, скажем, роскошного пира для блудящих овечек? Кто вас знает, какие вы здесь придумываете скотландские фокусы! В четверг я действительно проглотил большой кусок мяса и картофельный пудинг. Что

правда, то правда. Но ведь с тех пор сколько слюнок утекло! Так что восстановить это с подливкой я уж никак не могу. Вы думаете, мне самому не жалко? Да умей я восстанавливать проглоченное, я бы стал таким же мистером, как вы. Я отпустил бы себе усы для страха, и точка. Пусть они там трепыхаются, а я сажусь за готовый стол и кричу: «Алло! Алло! Печенка на свадьбе Дравкина, пожалуйста, восстановись!» Это была бы не жизнь, а рай.

— Попытка заговорить меня ни к чему не приведет. Если вы сознаетесь, мы вас отпустим на свободу. Если вы будете упорствовать, мы тоже проявим упорство. Вам придется тогда задержаться в Англии.

— Когда я был еще желторотый филин, я боялся таких задержек. Я хотел тогда скорее на свободу. А теперь я привык. Потом, у вас в тюрьме довольно сухо, не как в Гродно, стол, правда, неважный, но все-таки это помой, а не глотательная бумага. Спешить мне тоже некуда. Так я уже на месяц-другой удержусь.

Усы мистера Роттентона раздраженно запыргали.

— Вы — партийный фанатик.

Он решил потрясти этого бесстрашного сектанта строгой логикой. Долго рассказывал он Лазику о мощи Великобритании Империи, о расцвете промышленности, о преданности индусов, о миролюбии ирландцев, даже об открытии четырех кондитерских и высшей школы вышивания бисером на каких-то Соломоновых островах, где живут особые людоеды, которые обожают короля Георга, мистера Чемберлена и английские пикули. Лазик слушал с интересом. Он кивал головой.

— Замечательный реферат! У нас на политграмоте тоже говорили, что разруха упала на двести процентов и что теперь сморкаются не двумя пальцами, а больше. Я вас поздравляю, мистер, как вас... Скажите, а с чем эти людоеды кушают пикули? Может быть, с бисерным документом, тогда вы, наверное, спутали: Гомель не на острове, он не плавает, он спокойно стоит, и только внизу бурлят волны великого Сожа.

Не оценив географических познаний Лазика, мистер Роттентон продолжал патриотический спич. Теперь он высмеивал бессилие России: неурядица, развал промышленности, пустая казна, жалкая армия, бунты на окраинах.

— Сравните их флот с нашим флотом: дредноут и лодочка. Наши законы с их законами: сто томов и прогло-

ченная вами цидулька. Наши финансы с их финансами: банк Великобритании и несколько краденых пенсов, которые вы успели спрятать. Наконец, наш ум с их умом: вы и я. Стоит нам дунуть, и они полетят как пушинки. Как же они смеют не подчиняться нам? Подумать, что среди англичан находятся низменные натуры, которые верят в эту дурацкую доктрину! Не будь ста томов, я бы просто повесил их, а теперь мне приходится ждать, пока мистер Чемберлен составит сто первый том с отменой первых ста. Тогда-то мы им покажем!

Усы мистера Роттентона неистовствовали, и Лазик решил развеселить собеседника какой-нибудь гомельской историей.

— Это совсем как с выдуманном богом. Ему вдруг не понравилось, что евреи расшаркиваются перед каким-то Ваалом. Он стал кричать: «Что за посторонние расходы? Этот Ваал ничего не умеет делать. Это просто кусок плохого дерева, а не полномочный бог. Я могу сейчас же послать вам кровавый дождь, саранчу, холеру, словом, все, что мне только вздумается. А что он может? Ровно ничего». И бог так ворчал с утра до ночи, что всем евреям это надоело. Тогда один умник решил закончить эту затянувшуюся сцену. Он говорит богу:

— Сейчас я попрошу у Ваала себе двести тысяч, а Циперовичу одну египетскую казнь.

Бог хохочет — он притворяется, что ему смешно.

— Посмотрим, какие он тебе придумает египетские казни!..

— Значит, этот Ваал ничего не умеет.

— Конечно, ничего, если он просто телеграфный столб.

— Тогда почему же ты к нему ревнуешь? Какой еврей станет ревновать свою жену к полену?

Здесь выдуманный бог смутился, и он ушел на цыпочках домой. Эту историю я слышал еще в Гомеле. И это, конечно, половина истории, потому что, наверное, Ваал тоже волновался. А мне один ученый доктор говорил, что от волнения вскакивают прыщики. Так я умоляю вас, не волнуйтесь! Дуньте, и они уже улетят, а у вас останутся ваши преданные кондитерские.

Лазик ошибся — рассказанная им история не успокоила мистера Роттентона.

— Преступник! Шпион! Наглец! Как вы смеете насмехаться над конституцией империи? Я не хочу с вами

разговаривать. Извольте отвечать на вопросы. И без отнекиваний. Не то вам будет худо. Вы — большевистский курьер. Вы ехали из Архангельска... Подпишитесь.

— Хорошо... Я беру перо. Это все-таки лучше, чем когда ваши усы прыгают. Кто вас знает, какие у вас здесь порядки!.. Ну, вы довольны, что я записался? Теперь скажите мне, где он плавает, этот Архангельск, потому что я там еще не был, нельзя ли там выступить раввином или обезьяной?

— Не прикидывайтесь! Письмо вы проглотили. Отнекиваться поздно — вот ваша подпись. Содержание документа вам хорошо известно. Троцкий сообщал о разгуле большевистской клики и настаивал на выступлении в Ливерпуле. Вот вам бумага и перо. Восстановите текст. Если...

Лазик перебил:

— Не если, а уже...

На лице Лазика появилась смутная улыбка, свидетельствующая о творческом напряжении. Через несколько минут он подал мистеру Роттентону исписанный лист.

«Уважаемый товарищ по всем великобританским номерам! Наша клика веселится, как последние нахалы. На краденые деньги из пустой казны мы едим картофельный пудинг с подливкой под грохочущий провал всех окраин. Кругом одни китайские генералы и кулебяка с капустой. Это не жизнь, а смехотворный разгул. Но что же вы там ловите мух и теряете ваше драгоценное время? Я кричу вам: уже выступайте! Вот вам двадцать пенсов, чтобы вы обвязали себя пулеметными лентами с головы до ног. Наш план очень простой: взорвать Соломоновы кондитерские, тогда людоедам останутся только пикули, и вы пошлете к ним этого мистера с усами, который сейчас кричал на меня. Я не знаю еще его полного имени. Потом надо позвать всех преданных индусов на пир в лонно, и от Ливерпуля останется только четыре-пять голых камней. Но прошу вас на коленях — не валандайтесь! Когда я скажу «раз-два-три», начинайте, и если вы их всех ухлопаете, я угощу вас здесь таким жирным порошком с кашей, что вы оближете все ваши красные пальчики шпиона и палача. Ну, будьте здоровы, я устал, и кланяйтесь вашей жене. Как, кстати, детки? Ваш до гроба Троцкий».

— Bravo! Вот это документ! Как естественно!.. И на-

счет известного англичанина с усами тоже хорошо: око Москвы. Я вас поздравляю. А теперь отправляйтесь в тюрьму.

— Если «браво», почему же в тюрьму? Я согласен был задержаться, только чтобы не обидеть хозяев, но, конечно, я предпочитаю скакать по открытым улицам.

Но мистер Роттентон больше не слушал Лазика.

В тюрьме у Лазика было немало времени, и, пытаясь смягчить сердце мистера Роттентона, Лазик составил еще несколько писем: Троцкого — Зиновьеву, Зиновьева — мистери Ботомголау, даже миссис Пуке — мистери Роттентону. (Последнее изобиловало товарищескими советами.) Однако Лазика не выпускали. Он так увлекся новым занятием, что решил написать кому-нибудь настоящее письмо. Но кому? Фене Гершанович? Нельзя — перехватит Шацман. Минчику? Зачем волновать и себя, и его? Тогда, может быть, Пфейферу? Как-никак Пфейфер был ответственным съемщиком.

Лазик и это письмо передал надзирателю.

— Вот, отошлите, раз у вас не государство, а почтовая контора. Только, пожалуйста, не перепутайте. Оно не Зиновьеву и не Чемберлену. Оно всего-навсего одному анониму.

«Дорогой Пфейфер! Я пишу вам из восемнадцатой решетки, так что трудно только начало. Я, кажется, не падаю духом, хоть моя жизнь теперь один анекдот из репертуара Левки. Как вы говорили: «Человек слабее мухи, и он сильнее железа». Чем я только не был? Если мне придется теперь заполнить анкету, я изведу пуд казенной бумаги. Я посылаю вам мой портрет одного короткого момента, когда я по обязанности кушал вонючие букеты, но вы не обращайтесь на него внимания. Если я похож там на стрекозу из театра, на самом деле — я обыкновенный еврей, у которого в жизни маленькие неудачи. Не показывайте этого портрета дорогой Фене, урожденной Гершанович, — не знаю, за каким она теперь Шацманом. Пусть она не глядит на роскошный галстук. Она еще скажет: «Этот пигмей теперь задается». Дайте ей только один сплошной привет от справедливо поруганного Ройтшванца. Здесь капнула на листок произвольная слеза, так что простите мне позорную кляксу. Напишите, как живете вы, и дорогая ваша жена, и бриллиант Розочка, и умничек Лейбчик, и золото Монюша? Чьи на вас теперь брюки, мой кровный Пфейфер? Вспоминаете ли вы, ког-

да отлетает пуговка или лопается сразу сзади, смешного Ройтшванца, который тут как тут с иголкой? Мое сердце рвется, и я мечусь как тигр. Увижу ли я снова Гомель, и деревья на берегу Сожа, и всех друзей, и даже постыдную бочку, или я умру среди этих ста томов? Но я замолкаю ввиду полной цензуры. Я даже кричу «ура» их королевскому дредноуту. Прощайте, дорогой Пфейфер! Я, наверное, скоро умру. Во-первых, мне теперь часто снится, что я уже лежу под землей, но пусть это сон, и главное, вторых, то есть они хотят оглашать разные письма, а автору пора на тот свет, если он великий поэт, скажем, как Пушкин. Не сердитесь, что вместо письма выходит намек, вы же знаете, что значит, когда все кругом вами интересуются, как будто они мать или брат... Тысяча точек. Если я умру, пусть в вашем союзе кустарей-одинок не спускают могучего флага. Это слишком рискованные шутки. Нет, пусть лучше они сыграют похоронный марш, потому что я был честным тружеником, и за мной идет свежий строй ратников. Растите, Розочка, Лейбчик, Моничка! Цветите! Чего вам желает из-за могилы полуживой Ройтшванец».

Лазик напрасно старался — Пфейфер никогда не получил этого письма, но не прошло и трех дней, как Лазика снова вызвали к мистеру Роттентону. Войдя в кабинет, Лазик поспешно спросил:

— Еще писать? У меня уже иссякают рифмы.

— Я прочел ваше письмо какому-то восточному агитатору. Неужели вы хотите вернуться в Гомель?

— Ага, теперь вы поняли, что я из Гомеля, а не из Архангельска?.. Хочу ли я вернуться? Это вопрос. Кажется, хочу. Хоть меня там, наверное, посадят сразу на занозы. Я ведь в Париже голосовал за августейшую поступь, так что меня могут вообще расстрелять. Но здесь мне тоже крышка, и тогда остается голое любопытство: там я хоть перед смертью увижу, чем кончилась эта нежность с Шацманом.

— Нет, я вас не пущу, бедный Ройтшванец, в эту западню! Они должны вскоре пасть. Я раскрою перед вами все карты: мы дунули. Теперь остановка только за ними, правда, они еще не летят, но, наверное, завтра или послезавтра они полетят как пушинки.

— Конечно! Оттого вы сегодня веселый. Даже усы ваши не прыгают. Вот я люблю поговорить, когда такое небесное настроение. Но зачем вы все время думаете о них?

Не стоит. Глядите, и прыщик у вас вскочил на носу. Знаете, на кого вы похожи — на старую стряпуху. Это была вполне православная на мельнице возле Гомеля, и там жил старик Сыркин, который ел только кошерную кухню. Он был такой отсталый, что при одном виде свиньи у него делался насморк. Он варил себе каждый день похлебку в отдельном горшке. И вот, что же видит Шурка из ячейки? Горшочек кипит, Сыркин считает мешки, а стряпуха тихонько кидает в суп кусочек свиного сала, и так повторяется каждый божий день. Она даже не жалела своих продуктов. Шурка, конечно, не выдержал, и он спрашивает: «Почему такие придатки?» Но она ему спокойно говорит: «Нехай жидюга не войдет в царство небесное». Так и вы со мной. Кстати, я сижу уже два месяца, значит, вы успели напечатать все, что я проглотил, и теперь меня можно выставить наружу.

— Нет, мы вас не можем просто отпустить. Вы ведь теперь связаны с нами. Я предлагаю вам выгодные условия. Вы будете собирать для нас сведения среди лондонских евреев и вылавливать большевистских агитаторов. Одиннадцать фунтов в месяц.

Лазик вздохнул:

— Вы таки не желаете свиного сала!.. Ну что же, придется взять небольшой аванс...

Выйдя на свободу, Лазик отправился в Уайт-Чепль. Там он закусил, приобрел по дешевке перелицованный костюм и литовский паспорт и после этого, не задумываясь над будущим, пошел на ближайший вокзал. Увидев у кассы знакомое имя, он взял билет до Ливерпуля. Приехав туда, он стал бродить по набережным, разглядывая пароходы. Куда ему ехать? Да все равно... Только бы не в Румынию и не на эти Соломоновы острова! Вдруг он увидел на палубе толпу евреев. Совсем Гомель...

— Куда вы едете таким хором?

— Куда? Конечно, к себе на родину, то есть прямо в Палестину.

Лазик задумался: почему бы и ему не поехать с ними? Может быть, евреи будут повежливей, чем эти великие британцы. Хорошо! Он тоже — пылающий сионист, и он едет по удешевленному тарифу на свою дорогую родину.

Перед самым отходом парохода Лазик почувствовал беспокойство. Вот что значит привычка!.. Спешно купил он открытку с изображением дредноута и написал на ней:

«Дорогой мистер Роттентон! Я привык писать, и я пишу вам. Вы таки шотландский дурак. Может быть, вы родственник мистера Ботомголау? Но дело не в этом. Я забыл вам сказать, что я действительно курьер, что я проглотил бумажку, а на ней был настоящий секрет. Теперь я доехал в Ливерпуль и все здесь восстановил единым духом. Так что берегитесь с вашими пикулями! Отсюда я уезжаю обратно, и не в Гомель, а в Архангельск, потому что вы случайно попали пальцем туда. На ваши деньги мы выпили несколько бутылок вина, и я теперь хохочу, как преданный индус. Вы можете мне писать до вашего востребования или не писать, но сбрейте ваши усы, не то над вами будут смеяться все встречные кошки. Ваш до гроба мистер Лазик Ройтшвенц».



Денег не хватило. Однако на пароход Лазик попал. Он чистил обувь пассажиров первого класса. В свободное время он проходил на нос, где помещался третий класс. Кого только там не было! Безработные из Уайт-Чепля, литовские эмигранты, старые цадикки, ехавшие в Палестину, чтобы умереть, и задорные сионисты, с утра до ночи горланившие национальные гимны, пейсатые привидения иных времен, надевавшие для молитв талесы и ремешки, а рядом с ними коммунисты. Счастливики из Нью-Йорка меняли доллары, галицийские хасиды, вздыхая, вытаскивали из лапсердаков злоты, а какой-то перепуганный резник прятал от всех, как тайную прокламацию, один сиротливый червонец.

В первом классе было чинно и скучно. Богатая еврейка из Чикаго ехала посмотреть на Святую Землю. В ожидании щедрот господина бога пока что, над фаянсовой чашкой, она отдавала ему день и ночь, видимо, никому не нужную душу. Английские чиновники показывали друг другу фокусы, пили портвейн и шагали по палубе, методично перебирая длинными ногами в клетчатых брюках. Здесь не было ни анафем, ни молитв, ни рассказов о погромах, ни споров между коммунистами и поалейционистами, ни замечательных биографий. Здесь Лазик ваксил ботинки. На носу — он слушал, говорил, вздыхал.

Иногда он садился на бочку и, одинокий, мечтал. Он не соврал в письме к Пфейферу, за годы блужданий он действительно осунулся и постарел. Ему теперь давали за сорок. Он хворал, кашлял, кашлял, жаловался — грудь, болит бок. При малейшем напряжении его лоб покрывался холодной испариной. Может быть, он простудился, или это перестарался майнцский колбасник — не знаю, но стоило поглядеть на его лихорадочные глаза, чтобы воскликнуть: эй, дорогие гомельчане, вы живете припеваючи, среди фининспектора, оперетки и гусятных шква-рок, а вот наш Лазик Ройтшванец погибает! Он много видал, он узнал и любовь, и горе, он все узнал, теперь он сидит в сторонке, кашляет, горбится, нет у него даже сил, чтобы рассказать вот тому богобоязненному цадику, как молодец Левка в «Иом-Кипур» слопал перед самой синагогой целую колбасу за здоровье всех постников, так что у Когана потекла на мостовую неприличная слюна. Нет, он сидит, закутавшись в старый мешок, и смотрит на море.

— Что же вы ничего не скажете? — спросил Лазика один из нью-йоркских евреев.

— Я должен чистить сапоги, говорить я не обязан. Я, кажется, достаточно в моей жизни разговаривал. Если бы вы меня увидели без рубашки, вы бы, наверное, ахнули, потому что там нет местечка без печати, как будто мое скорбное тело — это паспорт. Я говорил два коротких слова, а они переходили, скажем, на полный бокс. Почему я еду в эту Палестину, а не в Америку и не на голый полюс? Я думаю, что евреи не умеют организованно драться, и это для меня еще маленький шанс на жизнь. Можно себе представить, какие электрические палки в Америке! На том же голом полюсе сидит, наверное, полицейский доктор ровно с двумя кулаками. А евреи меня мало били. Правда, во Франкфурте господин Мойзер поломал на мне зонтик, но куда же дождевому зонтику до колбасной дубины? Я думаю, что в еврейской Палестине меня перестанут печатать. Тогда вы уже правы, и это вполне Святая Земля. Почему я не читаю рефераты? Я устал. Это бывает со всяким. И потом — откуда вы знаете, может быть, я сейчас разговариваю с этой сумасшедшей водой?

Старик Берка в Гомеле, тот говорил, что всякая вещь поет. Вы думаете, что этот мешок молчит. Нет, он выводит свои мотивы. Дураки, конечно, слышат только гото-

вые слова, а умные, они слышат мелодию. Вот почему, когда два дурака сидят вместе, они не могут молчать, им скучно, и они начинают обязательно ворочать языками. Я вовсе не первая голова, но кое-что я слышу. Я слышу, например, как поет это море, и не только плеск воды, но разные предрассудки: о большой жизни без всяких берегов, когда сходятся море и небо, и они — настоящий мир, а эти три класса со всеми свистками только фальшивая нота. Я уже слышал в жизни, как поют самые разные штуки. Когда я хорошо кроил брюки, они радовались, и они пели. Каждой вещи хочется быть лучше, как вам и как мне, только люди стыдятся красивых мотивов, а брюки раскрывают себя до конца.

Берка говорил, что чем умней человек, тем больше мелодий он слышит, но сам Берка был отсталым цадиком, и он слышал только, как поют души набожных евреев у него в синагоге. Если верить ему, то Моисей слышал, как поют души всех евреев на свете. Я, конечно, не знаю, сколько в этом простого опиума. Я вот только редко-редко слышу какой-нибудь короткий звук, и тогда я смеюсь от счастья, а потом снова начинается глухонемая жизнь. Интересно, есть ли человек, который слышит сразу все мелодии: и евреев, и этих великих британцев, и кошек, и шуртуков; и даже черствых камней? У такого умника, наверное, сердце переезжает из груди в голову — поближе к ушам, чтобы ему было удобнее слушать, потому что мозгами можно выдумать башню без проволоки, как в Париже, и там ловить различные слова, но настоящую мелодию нельзя словить в трубку. Ее ведь слышат только сердцем.

Теперь вы видите, что я могу иногда говорить? Хорошо, что я еще не еду в вашу Америку! Там они умеют взять еврейский язык и сделать из него один нумерованный доллар с головой женатого президента.

Стояла тихая погода, и Лазик любовался цветущими берегами Португалии.

— Что за предпоследняя красота! Вот я и увидел своими глазами выдуманый рай. Здесь, наверное, столько орхидей, что из них делают смешное сено, а на бананы здесь вообще никто не смотрит, как у нас на подсолнухи. Их грызут только самые несознательные португальцы. А дворцы! Вы видите эти дворцы? Но если подумать хорошенько, то это все-таки не рай. У меня в кармане портрет португальского бича. Я провез его через все испытания.

Ну, дорогой бич, посмотри-ка на свою родину! Скорей всего, этот бич сидит теперь на португальских занозах. Конечно, такое солнце — уже половина счастья, и оно для всех. Но кушать португальцы тоже хотят. Нельзя ведь весь день нюхать орхидеи. Вот и получается: вместо Португалии просто-напросто Гомель. Вы что думаете, если глядеть на Гомель издали, это не красота? Можно выпустить тоже восторженные вздохи. Потому что издали виден крутой берег, и могучие деревья, и парк Паскевича со всеми драгоценными беседками. Счастье видно за сто верст, а горе нужно уметь разноухать. Вот и все. Мы можем ехать дальше, и даже неизвестно, о чем мечтать: если этого бича выпустит наружу хорошенький гнев масс, на занозы посадят другого, потому что земля повсюду земля, она царапается, а человек сделан из одного теста, он или полномочный нахал с шведской гимнастикой или зарезанный кролик. Нет, лучше уже глядеть на море, там, конечно, тоже рыбе несчастье, но там, по крайней мере, нет грохочущих слов.

Я слышал в Гомеле очень тонкую историю о царе Давиде. Это был мало сказать царь, он был еще замечательным поэтом, и у него все лежало под рукой: и вино, и музыкальные барабаны, и обед по звонку, как в первом классе, и сколько угодно бумаги, так что он каждый день сочинял какой-нибудь красивый стишок. Вот однажды ему повезло. Он сидел, корпел, он не мог выдумать, как бы еще прославить этого выдуманного бога. У него не хватало слов. Раз уже выдумаешь такую вещь как бог, надо уметь с ней обращаться, а он берет готовые слова, и ни одно не годится, все они маленькие, так что бог вылезает из них, как из детского костюмчика. И вот ему приходят в голову два или даже три неслыханных слова. Он сочиняет стихи высший сорт. Он, конечно, счастлив и берет тетрадку под мышку, и всем читает, и слушает комплименты: «Вы, царь Давид, — новый Пушкин, вы признанный гений». Ведь все поэты любят хвастаться. Шурка Бездомный хотел, чтоб по нему называли папиросы вместо «Червонец». Так легко себе представить, до чего доходил этот певучий царь. Он чуть было не лопнул от славы. Вот он уже прочел свои стихи всем: и жене, и детям, и придворным, и критикам, и просто знакомым евреям. Больше уже некому читать. Он гуляет по саду, и он весь блестит от счастья, как начищенный самовар. Вдруг он видит жабу, и жаба спрашивает его с нахальной улыбкой:

— Что ты так сияешь, Давид, как будто тебя натерли мелом?

Царь Давид мог бы вообще не ответить. Он же царь, он же гений, он то и се, зачем ему разговаривать с незнакомой жабой? С жабами вообще не разговаривают. Их отшвыривают, чтобы они не лезли под ноги. Но все-таки царь Давид — это не Шурка Бездомный. Он что-то понимал, кроме комплиментов. Он ответил жабе:

— Ну да, я сияю. Я написал замечательные стихи. Ты только послушай!

И он стал читать ей свои восторженные слова. Но жабу трудно было смутить. Она спрашивает:

— Это все?

— Это один стих. Но у меня есть тысяча стихов, потому что каждое утро я просыпаюсь, и я радуюсь, что я живу, и я сочиняю мои красивые прославления.

Здесь жаба расхохоталась. Конечно, жаба смеется не как человек, но когда ей смешно, она смеется.

— Я не понимаю, чего ты так задаешься, Давид? Я, например, самая злосчастная жаба, но делаю то же самое. Разве ты не слышал, как я квакаю, хоть мне и не говорят комплиментов. А чем, спрашивается, эти громкие слова лучше моего анонимного кваканья?

Царь Давид даже покраснел от стыда. Он больше уж не сиял. Нет, он скромно ходил по саду и слушал, как поет каждая маленькая травка. От такой последней жабы он и стал мудрецом.

Но вы поглядите на это море! А облака!.. Разве это не лучше всех наших разговоров?

Увы, недолго Лазику довелось любоваться красою природы. Подул западный ветер. Началась качка. Еле-еле дополз Лазик до борта.

— Что это за смертельный фокстрот? Море, я еще так тебя расхваливал, а ты, оказывается, тоже против несчастного Ройтшванца! Довольно уже!.. Я увидел, что ты умеешь все фокусы, но я ведь могу умереть. Ой, Фенечка Гершанович, хорошо, что ты меня сейчас не видишь!..

Раздался звонок. Горничная сердито крикнула:

— Туфли в каюту сорок три! Живее! Почему вы их не чистите?

— Я могу только сделать с ними полное наоборот. И вообще не говорите мне о каких-то туфлях, когда я торжественно умираю. Что ж это за «святая земля», куда так трудно попасть маленькому еврею? Лучше уж сорок лет

ходить по твердой пустыне. Уберите эти туфли, не то будет плохо!..

Сияло солнце, синело, успокоившись, море, мерно шел своей дорогой пароход «Виктория». Пассажиры первого класса передевались к обеду. Непрестанно дребезжал звонок. Но не было ни сапог английского майора, ни полуботинок двух веселых туристов, ни туфель богатой еврейки. На носу копошилась крохотная тень. Лазик по-прежнему стоял, согнувшись над бортом. Наконец-то его нашел лакей.

— Тебя все ищут, а ты что — рыбу ловишь? Где ботинки?

— Я... я не могу...

— Не валяй дурака. Качка кончилась.

— А вдруг она снова начнется? Это же не по звонку; так я сразу встал в удобную позу.

Это было мудро, но лакей, видимо, не любил философии. Он отлупил Лазика сапогами английского майора. Сапоги были солидные и со шпорами.



Приехав в Тель-Авив, Лазик сразу увидел десяток евреев, которые стояли возле вокзала, размахивая руками. Подойдя к ним поближе, Лазик услышал древнееврейские слова. Он не на шутку удивился.

— Почему вы устраиваете «миним» на улице, или здесь нет синагоги для ваших отсталых молитв?

— Дурень, кто тебе говорит, что мы молимся? Мы обсуждаем курс египетского фунта, и здесь все говорят на певучем языке Библии, потому что это наша страна, и забудьте скорее ваш идиотский жаргон!

Лазик только почесался. Он-то знал эти певучие языки! Они хотят устроить биржу по-библейски? Хорошо. У кого не бывает фантазий. Главное, где бы здесь перекусить?..

Печально бродил он мимо новых домов, садов, магазинов. На вывесках булочных настоящие еврейские буквы. Факт! Но булки остаются булками, и чтобы их купить, нужно выложить самые обыкновенные деньги...

Лазик присел на скамейку в сквере. От голода его начинало мутить.

— Земля как земля. Я, например, не чувствую, что она моя, потому что она, наверное, не моя, а или Ротшильда, или сразу Чемберлена, и я даже не чувствую, что она святая. Она царапается, как повсюду. Но кого я вижу?.. Абрамчик, как же вы сюда попали? Сколько лет, как вы из дорогого Гомеля? Уже три года? Пустячки! Ну как, вас тоже тошнило на этой мокрой качалке?..

Абрамчик печально вздохнул.

— Я уже не помню, потому что с того времени я столько качался, что пароход кажется просто колыбелькой. Я пробовал копать землю, но со мной сделался маленький солнечный удар, так что я провалялся полгода в больнице. А потом меня избили ночью арабы, и я снова вернулся в больницу. А потом я продавал газеты на жаргоне, и меня избили не арабы — евреи. Но тогда меня даже не пустили в больницу. Хорошо. Я решил стать нищим в Иерусалиме. Это довольно выгодное дело. Вы же помните, что в Гомеле набожные еврейки кидали у себя в жестяную кружку то пять копек, то десять, а потом приезжал один из Палестины и забирал все. Так, оказывается, эти кружки висят повсюду, и что же, получают крупные нули, так что стоит кричать у Стены плача, раз за это получаешь месячный оклад. Я так кричал, как будто меня резали. Но все сорвалось из-за одного окурка. Я себе забыл, что я не в Гомеле, а в Иерусалиме, и закурил хорошенький окурочек, который я подобрал после англичанина. Что же вы думаете? Оказалось, это — суббота — гомельское счастье! — и меня так избили, что я едва уполз. Я кричал им: «Если суббота, то нельзя работать, а вы же работаете, когда вы меня бьете!» Но они даже не хотели слушать. Теперь я снова попал в этот замечательный Тель-Авив, и я, наверное, здесь умру. Старые цадики, когда они приезжали в Палестину умирать, вовсе не были такими идиотами. Это здесь самое подходящее занятие. Зачем я только поверил в их красивые разговоры и примчался сюда? Я был просто дураком, и когда вы мне говорили на курсах политграмоты: «Абрамчик, вы что-то недодумываете», — вы были совсем правы. Но вы, Ройтшванец, вы же почти марксист, как вы попали сюда?

— Это я вам расскажу в другой раз, после закуски, а не до. Вы ведь ничего не знаете. Когда вы уехали в Одессу, я еще шил галифе; тогда по улицам Гомеля гуляли,

кроме настоящих людей, только грязные бумажки, а не эта гражданка Пуке. Я попал под исторический вихрь. Сюда, например, я приехал из какого-то нарочного Ливерпуля. Мне казалось, что здесь меня перестанут колотить. Но после вашей кровавой исповеди я начинаю уже дрожать. Я ведь стал таким подержанным телом, что из меня может сразу выйти весь дух. Все равно: будь что будет! Прежде всего я хочу закусить. Может быть, мне отправиться в Иерусалим и там покричать у этой стенки?

— Кричите. Там вовсе не дают каждый день деньги, их дают один раз в месяц, и вам придется ждать ровно три недели. Я же знаю все их дикие выходы!

— Что же мне тогда остается?.. Я хочу кушать. Может быть, здесь есть кто-нибудь из гомельчан?..

— Как же! Здесь не кто-нибудь, а сам Давид Гольдбрух. Помните, у него была контора на углу Владимирской? Он еще уехал при первых большевиках в костюме напрокат, скажем, дворника. Так он здесь. Он, оказывается, в их палестинском комитете, и он кричит повсюду, что здесь апельсиновый рай. Я попробовал было к нему сунуться, но он просто закрыл дверь. А у него, между прочим, три роскошных дома и такой шик внутри, что англичане платят полфунта за один только взгляд.

— Решено — я иду к Гольдбруху. Вы просто не сумели с ним поговорить. Как? Он в комитете, и он выгонит Ройтшванца, когда этот Ройтшванец специально приехал из общего Гомеля в его апельсиновый рай? Нет, этого не может быть! Вы увидите, Абрамчик, что я вас вечером угощу телячьими ножками с картошкой или, например, студнем — я не знаю, что вы больше любите, а я и то, и другое.

Гольдбрух вправду жил припеваючи. Он ведал строительными работами, строил иногда для других, чаще для себя, на каникулы ездил в Европу; там он собирал деньги, рассказывал об экспорте апельсинов, кутил с девушками, оставшимися «в рассеянии», а потом возвращался в Тель-Авив — «Дело себе идет, к осени я построю еще одну хорошенькую дачку».

Лазика Гольдбрух принял в беседке. Он лежал и пил ледяной лимонад. Его раскрытую грудь обдувал электрический вентилятор. Хоть Лазик и не помнил толком, что это за птица, Гольдбрух, он восторженно крикнул:

— Додя! Ты видишь, что свет уж не так велик, — мы с тобой увиделись! Ну, как вы себя чувствуете?..

Лазик даже прищурил один глаз, как это делал Монькин, когда глядел на картину.

— Немножко загорели, а так совсем как живой. Я бы вас узнал даже на парижской площади. Что? Вы не знаете, кто я? Я прежде всего ваш сосед. Вы жили на Владимирской. Теперь она, простите меня, стала улицей Красного Знамени. А я жил на улице Клары Цеткиной. Это в двух прыжках. Интересно, кто вам шил брюки? Наверное, Цимах. Теперь вы меня узнаете? Я же портной Ройтшванец. То есть как это вам ничего не говорит? Я — говорю. И хватит! Как ваши детки поживают? Что? У вас нет деток? Для кого же вы строите ваши дома? Ну, не огорчайтесь, детки еще будут. Что вы там, кстати, пьете? Постыдный лимонад? А когда же у вас попросту обедают?

Гольдбрух в ответ так яростно гаркнул, что Лазик отлетел на десять шагов.

— Почему вы кричите, как в пустыне?

— Потому что вы нахал. Говорите просто, что вам от меня нужно, и убирайтесь!

— Что мне нужно? Например, кусочек родной колбасы на древнееврейском хлебе.

— Работайте!

— Ах, у вас есть что-нибудь перелицевать? Дайте же мне наперсток, и я в одну секунду выверну или даже укорочу...

— У меня нет работы. Вы портной? Так напрасно вы сюда приехали. Здесь больше портных, чем штанов.

— Что же я буду делать, скажем, завтра, если я до завтра не умру?

— Ничего. Вы будет как все — самый обыкновенный безработный.

— А им дают что-нибудь кушать? Тогда я уже согласен.

— Что им дают? Шиш. У нас настоящее государство, а разве есть государство, чтобы не было безработных? Вы будете тихо сидеть и ждать, пока кончится этот кризис.

— Сколько же я просижу натошак? Вы говорите, годик-другой? Вы, вероятно, выступаете в каком-нибудь цирке? Но я вас прямо спрошу: что, если я сейчас возьму из вашего драгоценного буфета одну библейскую булочку?

— Очень просто — вас моментально посадят в тюрьму. У нас настоящее государство, а разве есть государство без тюрьмы? И я уже нажимаю эту кнопку, чтобы вас вы-

кинули на улицу, потому что мне слишком жарко для таких дурацких разговоров.

— Я сам уйду. До свидания, Додя, и в будущем году, скажем, в Гомеле. Это вам не нравится? Постройте себе в утешение еще один домик. Ой, как вы хрипите! Знаете что? Я здесь не видел ни одной свиньи. Откуда же здесь будут свиньи, когда это наша еврейская родина? Вот вам один минус. Разве бывает государство без свиней? Но не волнуйтесь, успокойтесь. У вас таки настоящее государство, и у вас есть даже свиньи, потому что вы, например, в полный профиль...

Лазик не удалось закончить сравнения. Увидев широкоплечего лакея, он только воскликнул: «Начинается! И прямо с Голиафов!» — после чего быстро шмыгнул в ворота. Так Абрамчик и не получил ни телячьих ножек, ни студня.

Началась для Лазика обычная неразбериха чередования профессий, раздирающие душу запахи в обеденные часы, пинки, философские беседы и сон на жесткой земле. Но все труднее и труднее было сносить ему эту жизнь: подкашивались ноги, кашель раздирал грудь, и по ночам снились: Сож, международные мелодии, смерть.

Недели две прослужил он у Могилевского, который торговал сукном в Яффе. В Тель-Авиве было слишком много лавок, а в Яффе дела шли хорошо; одна беда — арабы избивали евреев. Каждое утро, отправляясь из Тель-Авива в Яффу, Могилевский надевал на себя феску, чтобы сойти за араба. Пришлось и Лазик украсить свою голову красной шапчонкой. Это ему понравилось: феска ведь не хвост, феска, как в опере. Но как-то вечером Могилевский, почуяв непогоду, удрал с кассой в Тель-Авив. Лазик остался охранять товар. Подошли арабы. Они что-то кричали, но Лазик не понимал их. Он только на хорошем гомельском языке пробовал заговорить толпу.

— Ну да! Я стопроцентный араб. У меня дома настоящий гарем и бюст вашего Магомета.

На арабов это, впрочем, никак не подействовало.

Могилевский прогнал Лазика: «Вы не умеете с ними жить в полной дружбе». Лазик чесал спину и печально приговаривал:

— У них таки бешенство, как у настоящих арабов! В общем, евреям чудно живется на этой еврейской земле. Вот только где я умру: под этим забором или под тем?

Он нищенствовал, помогая резнику резать кур, наби-

вал подушки и тихо умирал. Как-то при содействии монтера Хишина из Глухова удалось ему прошмыгнуть в ночное кабаре. Девушки, покрашенные ничуть не хуже Марго Шике, танцевали, задирая к потолку голые ноги. Они пели непристойные куплеты. Впрочем, содержание последних Лазик понимал с трудом: по-древнееврейски он умел только молиться. Зато бедра актрис произвели на него чрезмерно сильное впечатление. Расталкивая почтенных зрителей, которые пили шампанское, он вскочил на эстраду.

— Здесь таки цветут святые апельсины! Я падаю на колени. Я влюблен в вас всех оптом. Сколько вас? Восемь? Хорошо, я влюблен в восемь апельсинов, и я предпочитаю умереть здесь от богатырской любви, чем где-нибудь на улице от постыдного аппетита.

Девушкам это, видимо, понравилось. Они начали смеяться. Одна из них даже сказала Лазику по-русски:

— Вы последний комплиментщик. Сразу видно, что вы из Одессы.

— Положим, нет. Я из Гомеля. Но это неважно. Перейдем к вопросу об апельсинах...

Здесь к Лазику подбежал один из зрителей. Он начал кричать:

— Нахал! Как вы смеете вносить в эту высокую атмосферу ваш рабский жаргон? Когда они говорят на священном языке Суламифи, высказываете вы, и вы пачкаете наши благородные уши вашей гомельской грязью. Вы, наверное, отъявленный большевик!

Взглянув на крикуна, Лазик обомлел: это был Давид Гольдбрух. Быстро Лазик спросил его:

— Доля, Голиаф с вами?

— Негодяй. Он еще смеет острить, когда за этим столом все члены комитета! Эй, швейцар, освободите нашу долину молодых пальм от подобного пискуна!

Швейцар сначала отколотил Лазика, а потом передал его двум полицейским.

— Господин Гольдбрух сказал, что это, наверное, большевик.

Тогда полицейские в свою очередь стали тузить Лазика.

— Остановитесь! Кто вы такие? Вы евреи или вы полицейские доктора?

— Мы, конечно, евреи. Но ты сегодня потеряешь несколько ребер. Эти англичане еще кричат, что мы не мо-

жем справиться с большевизмом. Хорошо! Они увидят, как мы с тобой справились.

Полуживого Лазика отвели в тюрьму. Там он нежно поцеловал портрет португальского бича, сказал «девятнадцатая» и заплакал.

— Они дерутся не хуже певучих панов. Что и говорить, это настоящее государство! Я не знаю, сколько у меня было ребер и сколько осталось, я им вовсе не веду счет. Но одно я знаю, что Ройтшванецу — крышка.

Утром его повели на допрос. Увидев английский мундир, Лазик обомлел:

— При чем тут великие британцы? Может быть, вы тоже недовольны, что я говорил с этими апельсинами не на языке покойной Суламифи?

Англичанин строго спросил:

— Вы большевик?

— Какая же тут высокая политика, когда меня свели с ума их ноги? Вы что-то пронзаете меня вашим умным взглядом. Уж не получили ли вы открытку с видом от мистера Роттентона? Тогда начинайте прямо с копания могилы.

— Мы не потерпим у себя большевизма! Мы его искореним. Мы очистим нашу страну от московских шпионов.

Тогда Лазик задумался.

— Интересно — сплю я или не сплю? Может быть, я сошел с ума от этих Голиафов? Правда, они вытряхивали бедра, но они могли нечаянно вытряхнуть и мозги. Я, например, не понимаю, зачем вы вспоминаете вашу великую страну с письмами Троцкого и даже с картофельным пудингом, когда я не в Ливерпуле, а в еврейской Палестине?

— Вы показываете черную неблагодарность. Мы вам возвратили вашу родину. Мы вас опекаем. Это называется «мандат». Теперь вы поняли? Мы построили военный порт для великобританского флота и авиационную станцию для перелетов из Англии в Индию. Мы ничего не жалеем для вас. Но большевистской заразы мы не потерпим.

Лазик стал кланяться.

— Мерси! Мерси прямо до гроба! Но скажите, может быть, вы снимете с меня этот мандат, раз я такой неблагодарный Ройтшванец? Все равно я скоро умру, так дайте мне умереть на свободе, чтоб я видел эти апельсиновые

сказки, и солнце, и колючую землю, которая меня зачем-то родила! А потом, через месяц или через два, вы сможете всю опеку мою заразительную могилу. Я дам вам на это безусловный мандат. Вы уже вернули мне мою родину с этим роскошным портом и даже со станцией, вы великий британец, и вы золотая душа. Верните же мне немного свежего воздуха и скачущих по небу облаков, чтоб я улыбнулся на самом краю могилы!



Два месяца просидел Лазик в иерусалимской тюрьме. Когда он вышел, цвели апельсиновые деревья, но он не мог им улыбнуться. Еле-еле дошел он до Стены плача.

— Что же мне еще делать? Я буду здесь стоять и плакать. Может быть, мне повезет, и завтра как раз число, когда раздадут деньги из жестяных кружек. Тогда я съем целого быка. А если нет, тоже ничего. По крайней мере, интересно умереть возле подходящей вещи. Кто бы надо мной плакал? А так я услышу столько надрывающих воплей, сколько не слышал ни один богач. Ведь здесь же, может быть, триста проходимцев, и они воют с утра до ночи. Им, конечно, все равно над чем плакать, они поплачут над мертвым Ройтшванцем: «Ой, зачем же ты развалился, наш ненаглядный храм!..»

Вспомнив о своих новых обязанностях, Лазик начал бить себя в грудь и кричать. Рядом с ним рыжий еврей так усердствовал, что Лазику пришлось закрыть уши:

— Не можете ли вы оплакивать на два тона ниже, а то у меня лопнут все перепонки?..

Рыжий еврей оглянулся. Лазик закричал:

— Что за мираж? Неужели это вы, Абрамчик? Но почему же вы стали рыжим, если вы были вечным брюнетом?

— Тсс! Я просто покрасил бороду, чтоб они меня не узнали после того факта с окурком. Ну, давайте уже выть!

Оба завьли. Лазик прилежно оплакивал разрушенный храм, но голова его была занята другим. Когда плакальщики разошлись по домам, он сказал Абрамчику:

— Слушайте, Абрамчик, я хочу поднести вам конкретное предложение. Как вы думаете, не пора ли нам уже возвращаться на родину?

Абрамчик остолбенел.

— Мало я слушал эти слова? Ведь мы уже, кажется, вернулись на родину. О чем же вы еще хлопочете?

— Очень просто, я предлагаю вам вернуться на родину. Здесь, конечно, певучая речь, и святая земля, и еврейская полиция, и даже мандат в британском мундире, слов нет, здесь апельсиновый рай, но я хочу вернуться на родину. Я не знаю, где вы родились — может быть, под арабскими апельсинами. Что касается меня, то я родился, между прочим, в Гомеле, и мне уже пора домой. Я поехал по свету, поглядел, как живут люди и какой у них в каждой стране свой особый бокс. Теперь я только и мечтаю, что о моем незабвенном Гомеле. Вдруг у меня хватает сил, и я доплыву туда живой!.. Я снова увижу красивую картину, когда Сож сверкает под берегом, наверху деревья, и публика возле театра, и базар с отсталыми подсолнухами. Я увижу снова Пфейфера. Я скажу ему: «Дорогой Пфейфер, как же вы здесь жили без меня? Кто вам шил, например, брюки? Наверное, Цимах. Ведь здесь же складочка совсем не на месте». И Пфейфер обольется слезами. А маленький Монюша будет прыгать вокруг меня: «Дядя Лазя, дай мне пять копеек на ириски!» И я, конечно, отдам ему всю мою душу. Я увижу Фенечку Гершанович. Она будет гулять с молодым сыном по роскошному саду Паскевича. Я вовсе не подыму низкий шум. Нет, я скажу ей: «Доброе утро! Гуляйте себе хорошо. Пусть цветет ваш маленький богатырь. Я был в двенадцати странах и на двадцати занозах. Я переплывал все моря вплавь. Я видел, как цветут орхидеи. Но я думал все время только о вас. Теперь я, конечно, умираю, и не обращайтесь на меня никакого внимания, но только принесите на мою могилу один гомельский цветок. Пусть это будет не нахальная орхидея, а самая злостная ромашка, которая растет на каждом шагу». Да, я скажу это Фенечке Гершанович, и потом я умру в неслыханном счастье.

— Вы совсем напрасно говорите о смерти. Вы еще юноша, и вы можете даже жениться. Я не понимаю только одного, как вы поедете отсюда в Гомель? Это же не в двух шагах.

— Ну что ж, я снова сяду на эту качалку, и я закрою

глаза. Хорошо, выматывайте из меня все кишки! Одно из двух: или я умру, или я доеду.

— Но вы с ума сошли! Кто вас повезет?

— Это очень просто. Янкелевич в Париже рассказал мне все по пунктам. Я беру лист, и я немедленно открываю полномочный «Союз возвращения на родину». При чем это будет великая федерация: они вовсе не обязаны ехать в Гомель. Нет, они могут возвращаться в Фастов и даже в Одессу. Я соберу сто подписей, и я отошлю в Москву заказным письмом всем самым роскошным комиссарам, а тогда за нами придет настоящий пароход. Вы думаете, здесь мало охотников? Юзька не закричит «ура»? Старик Шенкель не прыгнет мне на шею? Какие тут могут быть разговоры! Все поедут. И я не хочу откладывать это в долгий ящик. Я сейчас же пойду с анкетным листом.

Действительно, Юзька, услышав о «Союзе возвращения на родину», от радости подпрыгнул, он даже угостил Лазика овечьим сыром. Но вот с Шенкелем вышла заминка. Шенкель вовсе не начал обнимать Лазика. Он стал спорить:

— Зачем тебе туда ехать? Что ты, комиссар? Очень там хорошо живется, нечего сказать! Сплошной мед! Ты, может быть, думаешь, что они тебя озолотят за то, что ты к ним вернулся?

— Нет, этого я как раз не думаю. И я вам скажу правду, я думаю полное наоборот. Я ведь не могу им доказать, что Борис Самойлович — это одно, а я — другое. Я же состоял его кровным племянником, и они, конечно, спросят, где тот драгоценный сверточек. Хорошо еще, если при этом не будет гражданки Пуке. А вдруг она навсегда осталась в Гомеле? Ей же мог понравиться такой красивый город. Тогда меня расстреляют в два счета. Но разве в этом вопрос? Я же хочу умереть у себя дома.

— Ты, Ройтшванец, молод и глуп. Куда ты лезешь? Там ячейки, и фининспектор, и этого нельзя, и туда запрещено, и чуть что, тебя хватают. Это самый безусловный ад, какой же болван пойдет в своем уме на такие испытания?

— Вы, конечно, старше меня, но насчет ума — это большой вопрос. Хорошо. Там ад, а здесь рай. Правда, я не заметил, чтобы здесь был особенный рай. Вы тоже живете не как ангел, а одной сухой коркой. Но, может быть, я близорукий. В Гомеле Левка пел куплеты о Париже, так

что слюнки текли, что же, я там был, в Париже, и я тоже не заметил, что это замечательный рай. Меня там попросту колотили. Но, скажем, что рай в Америке, потому что в Америке я, слава богу, не был, и я не стану с вами спорить. Пусть там стопроцентный рай, а у нас фактический ад. Я принимаю эту предпосылку и все-таки хочу ехать.

Я вам расскажу одну гомельскую историю, и посмотрим, что вы тогда запоете. Вы, наверное, слышали про ровенского цадика. Он же не был ни молодым, ни глупым, как я. Он для вас, кажется, безусловный авторитет, раз вы держитесь за все предписанные бормотания. Так вот, к этому цадику однажды приходит суровый талмудист с самыми горькими упреками:

— Послушайте, рэби, я вас совсем не понимаю. Все говорят, что вы благочестивый еврей, а я живу рядом, и мне кажется, что у вас не дом, но кабаре. Я сижу и читаю Талмуд, а наши хасиды делают черт знает что — они поют и танцуют, они громко смеются, как будто это московская оперетка.

Цадик ему преспокойно отвечает:

— Ну да, они смеются, как дети, они поют, как птицы, и они прыгают, как козлята. Ведь у них в сердце не черная злоба, но радость и полная любовь.

Талмудист так рассердился, что чуть было не проглотил кончик бородки: он всегда жевал кончик бородки, когда ему хотелось придумать умное слово. Он так ничего не придумал. Он только сказал:

— Это довольно неприличные для еврея разговоры. Вы ведь знаете, рэби, что, когда мы изучаем один час Талмуд, мы делаем ровно один шаг поближе к раю. Значит, когда мы не изучаем Талмуда, мы пятимся прямо в ад. Ваши хасиды поют, как идиотские птицы, вместо того чтобы сидеть над священной книгой. Куда же вы их толкаете? В ад. Но в аду — признанный ужас. Там одних кипятят, а других жарят, а третьих вешают за языки. Конечно, если это вам нравится, вы можете за час до кипятка танцевать. Но я буду изучать Талмуд, чтобы попасть прямо в рай. Там всегда тепло, не холодно, не жарко, ровная температура, хорошее общество, то есть повсюду одни ангелы: все сидят в золотых коронах и читают Тору. Там розы без шипов, и деревья без гусениц, и на дороге ни одной цеповой собаки. Так неужели же вы не хотите попасть в этот рай?

Цадик только усмехается.

— Нет. Я, конечно, тебе благодарен за умные советы, но я не хочу этого готового рая. По-моему, там могут жить только ангелы, потому что они не люди, у них нет ни сердца, ни печени, ни страсти. А человек вовсе не должен бояться, если он даже падает вниз. Как же можно подняться наверх, если никогда не падать? Ты мне рассказал о каком-то чужом рае. Это не мой рай, и моего рая вообще нет, я его еще не сделал, а глядеть на красивые картинки я совсем не хочу. Если я буду много смеяться, и много плакать, и много любить, что же, может быть, тогда я увижу на краю могилы мой окржавленный рай.

Вот что ответил ровенский цадик этому ученому талмудисту. Я вас зову ехать. Конечно, там плохо и там трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят, а не только зевают на готовых подушках. Вы, Шенкель, конечно, в почетных годах и оставайтесь здесь, но вы, Бройдек, и ты, Зельман, вы же молодые скакуны, так давайте скорее ваши огненные подписи!..

— Какие подписи? Что это за собрание на святой улице? Это, может быть, ты — главный агитатор? Ну-ка, походи сюда за хорошей подписью!

Лазик теперь знал, что евреи умеют драться. Он бросился бежать. Вначале за ним гнались. Он бежал по загородному шоссе, боясь перевести дыхание. Но он не мог бежать. С грустью подумал он: «Как тот голый еврей вокруг Рима...» Он чувствовал, что силы оставляют его. Нет, он не вернется на родину!..

Он остановился. Больше за ним никто не бежал. Кругом были только черные поля, редкие огоньки ферм, звезды, тишина.

— Где же мой рай? Или я его еще не выкроил?..

И он побежал через силу дальше.



Лазик шел по дороге — куда и зачем, он сам не знал. Он не мог идти, и он все же шел. Ему казалось, что он уже прошел тысячи верст. Не Гомель ли за тем поворо-

том? Но на знойном белесом небе по-прежнему темнели купола и минареты Иерусалима. Лазик все шел. Наконец он свалился. Он лежал теперь в дорожной пыли.

— Кажется, здесь можно поставить хорошую точку.

Но нет, Лазика не хотели оставить в покое. Загудел рожок автомобиля, и шофер, затормозив машину, стал ругаться:

— Нахал! Как ты смеешь валяться на дороге?

Лазик виновато улыбнулся: хорошо, он не будет валяться. Он же ученый, он знает, что такое раздавленное насекомое не смеет задерживать движения.

Что это за старая беседка? Наверное, в ней никто ни живет. Там он никого не будет раздражать своим неприятным видом.

Лазик дополз до каменного шатра. Внутри было темно и прохладно. Он увидел бородатого еврея в картузе и пышную даму. На даме было столько бриллиантов, что Лазик зажмурил глаза: как звезды сияли они вокруг тусклой свечи. А этот скрипучий шелк! А это перышко на шляпе! Задыхаясь от гордости и от астмы — немудрено, жиры так и валились на пол, — дама говорила бородатому еврею:

— Вы прочтете самые шикарные молитвы, потому что у меня, слава богу, есть еще чем заплатить. Я приехала сюда из Нью-Йорка, и у моего мужа там самый шикарный ресторан. Я приехала поглядеть на землю предков, пусть эти патриархи видят, что вовсе не все евреи стали несчастными попрошайками. Нет, некоторые таки вышли в люди. Я хочу порадовать моих предков. Это что-нибудь да значит — увидеть самую шикарную еврейку.

Бородатый сторож лебезил:

— Я прочту десять таких молитв, что все патриархи в раю ахнут. Но скажите мне ваше драгоценное имя и, может быть, имя вашей незабвенной мамочки. Я их напишу на бумажке, и я кину бумажку за этот камень, прямо к самой Рахили.

Дама раскрыла ридикюль.

— Я могу даже пожертвовать мою визитную карточку. Пощупайте зад — это не буквы, это гравюра, это же самые шикарные карточки. Меня зовут по последней моде Виктория, но моя мамочка еще торговала селедками, и я вам скажу по секрету, что ее так звали Хаей.

Сторож кинул бумажку за камень и, раскачиваясь, принялся бормотать молитвы. Но дама прервала его:

— Уже хватит с предков! Потому что пора к обеду, и меня ждет автомобиль.

Только что она ушла, сторож обратил внимание на лежавшего возле двери Лазика. С презрением оглядел он его лохмотья. Да, этот не сверкает бриллиантами!..

— Спрашивается, что ты здесь делаешь?

— Я? Я — уже.

— Что значит «уже»?

— Уже — умираю.

Тогда сторож начал кричать:

— Вы видели такого второго нахала? Ты знаешь, где ты? Это вовсе не место для подобных попрошайек, это могила самой Рахили. Ты понимаешь, что это за замечательная святыня, или ты вообще оглох? Здесь вовсе не умирают, здесь дают мне немножко денег, и я кидаю записку, и я читаю несколько молитв. А потом отсюда уходят. Ты понял? Что же ты не двигаешься? Как зовут тебя и твою, скажем, мать? Отвечай скорей, пока никого нет, и я тебе устрою это по самому дешевому тарифу.

Лазик печально улыбнулся.

— Вы напрасно волнуетесь. Скажем, что меня зовут «Горе», а мою мать «Печаль». Что же дальше? Вам незачем шевелить губами. У вас и так, наверное, на губах мозоли. Я вовсе не глухонемой, чтобы вы за меня разговаривали с природой, и я не эта американская свинья, у меня нет ни одного пенса, так что перестаньте волноваться. Я через час, наверное, умру.

— Нахал! Богохульник! Последняя собака! Сейчас же убирайся отсюда, не то я тебя истерзаю! Если каждый нищий вздумает умирать на таком святом месте, то что же это будет? Уходи умирать на помойку! Этот гроб Рахили вовсе не для тебя устроен. Он устроен для порядочных людей.

Лазик не двигался с места.

— Вы можете кричать сколько вам вздумается, но я отсюда не уйду, раз я сказал вам, что я умираю. Когда я еще мог жить, все кричали: «Нахал Ройтшванец, как ты смеешь здесь жить?» И меня терзали. И я уходил, потому что я еще хотел жить. А теперь мне совсем все равно. Хотите терзать меня — терзайте. Действительно, какой скандал: Лазик Ройтшванец смеет умирать на таком шикарном месте! Но примиритесь с фактом. Я и при жизни вовсе не выбирал себе подходящие места. Нет, просто дул ветер, и я сел в жесткий вагон. Так и теперь. Я полз,

пока я мог, и я приполз. Вы думаете, я знал, что здесь живет этот «гроб Рахили»? Нет, я думал, что здесь никто не живет. Я хотел вежливо умереть, чтобы никого не обидеть последним вздохом. Я ведь знаю, что громко вздыхать нельзя. Но вот я дополз, и вы здесь. Так не кричите на меня за пять минут до последней точки. Будьте оригиналом, скажите мне: «Пожалуйста, милости просим...» Я же никогда не слышал таких неожиданных звуков!

Сторож, однако, упорствовал:

— Здесь вовсе не принято умирать, и кто же будет платить за твои дурацкие похороны?

Тогда Лазик сказал ему с необычайной строгостью:

— Знаете что, еврей, вы мне надоели. Вы мне мешааете умереть. Я должен сейчас подумать о чем-нибудь высоком, а вы ко мне пристааете с пошлыми деньгами. У меня нет денег, и вы можете выкинуть мое мертвое тело хоть в яму, мне все равно. Но сейчас, когда все во мне гудит, я хочу думать только о самом высоком.

Сторож расхохотался:

— Подумаешь, что за важная птица!.. Я еще понимаю, когда умирают какие-нибудь ученые падики, или министры, или щедрые господа с большим капиталом, так им есть на что оглянуться, у них позади пышная жизнь. А над чем ты можешь философствовать, если ты жалкий попрошайка, неуч, нахал с улицы?

— Да, я не ученый секретарь, и я не Ротшильд. Я только гомельский портной. Но все-таки перед смертью мне нужно подумать. Вот я вижу всю мою бурную жизнь. Она кипит внизу, как наш Сож. Мне самому смешно, когда я вспоминаю печальные факты. Это даже не похоже на жизнь. Это просто постыдный анекдот нашего Левки. Я вспоминаю, и я улыбаюсь, может быть, за пять минут до последнего вздоха. Наверное, солидные люди умирают совсем иначе. Они считают, сколько они книг написали, когда устраивали шумные перевороты или почему продавали разный товар. Вы правы, господин гробовой сторож, я умираю, как откровенный дурак. Можете поднести сюда вашу драгоценную свечку, и вы увидите, что мои ноги уже не двигаются, я начинаю кончаться с ног, но на моем лице самая отъявленная улыбка. Я улыбаюсь, потому что я все-таки думаю о самом высоком, и хоть вы грубый крикун, я сейчас расскажу вам мою последнюю историю. Это будет история о дудочке.

Вы, конечно, знаете, кто такой Бешт. Он ведь выду-

мал всех хасидов. Для вас такие вещи это дважды два, раз вы кормитесь с мертвого места, а для меня они только красивый предрассудок. Я вижу насквозь ваш дурман, но умные люди всегда остаются умными людьми, даже когда они играют в прятки. Нечего говорить — Бешт был большой головой, и все евреи его почитали. От одного разговора с ним они сразу вырастали на целый вершок. Я уже не говорю о том, какое у него было сердце. По-моему, он был куда справедливей, чем его выдуманый бог, потому что от Бешта никто не видел зла, ну а от бога... Впрочем, я не хочу вас на прощанье чересчур огорчать.

Значит, город, где жил этот Бешт, был прямо-таки избранный, хоть в нем не было, наверное, никаких бронзовых фигур. Это был смехотворный городишко между Гомелем и Бердичевом, не Париж и не Берлин. Зато в нем жили самые умные и самые набожные евреи, а среди них этот Бешт. Хорошо. Настает «Иом-Кипур». Евреи собираются в синагогу. Они должны каяться в грехах. Они каются. Конечно, они вовсе не грешили. Разве могут грешить такие порядочные люди? Они, скорей всего, каются для приличия. Посмотрите на эту публику! Вот где ваши цадики и щедрые господа. Этот знает наизусть весь Талмуд, этот пожертвовал триста рублей на новый свиток, этот всегда постится, этот день и ночь молится, словом, они даже не евреи, а готовые ангелы.

Но что же происходит? Бог наверху раскрывает Книгу судеб, и он вешает разные грехи. Набожные евреи хотят у него выпросить пощаду. Они бьют себя в грудь, они плачут, они кричат, но нет им никакого облегчения. Каждый чувствует, что у него в сердце камень, и напрасно лить слезы, ничего не поможет, слишком много в этом праведном городе грехов.

Вы себе представить не можете, какая тоска охватила всех! В синагоге стоял такой вопль, что даже птицы, которые летали над крышей, падали вниз от печали. День был для осени на редкость жаркий, набрались тучи, и хотел уже грянуть гром, и не мог. В ужасе думали евреи: «Мы погибли, бог не отпустит наших грехов, вот-вот уже скрипит его перо, вот-вот он выписывает нам самую черную смерть. Может быть, придет на всех холера или случится новый погром и будут пороть животы, насиловать наших жен и топтать наших деток. Ой, горе нам! Нет нам пощады! Чем ужасным провинились мы?..»

И все умники каялись в разных напечатанных грехах,

но своих грехов они не помнили, и как они могли помнить разную человеческую мелочь? Тот, кто знал наизусть весь Талмуд, не знал ни одного простого слова. Он не мог утешить какого-нибудь горемыку, не мог приласкать ребенка, не мог посмеяться в праздник с бедняками. А тот, кто выложил тысячу рублей на пышный свиток, не знал, что значит обыкновенная нужда. Он подавал две копейки на улице признанным нищим, но он не поднес бедному портному, у которого к субботе не было ни свечи, ни булки, чудесного подарка. Он думал, что все люди обходятся красивым свитком. И тот, кто молился, не умел прощать. И тот, кто постился, не умел накормить голодного. И вся их справедливость была на два часа. Они ее напяливали на себя, как шелковый талес. А теперь выдуманному богу надоел этот маскарад. И вот кричат евреи, но нет дороги их крикам. Тогда они поворачиваются к Бешту: «Раз Бешт с нами, мы не можем пропасть. Он же свой человек у бога, он выпросит нам полное прощение!»

Бешт стоит и молится. Но ужасная скорбь на его лице, так что больно глядеть. Он же не просто умник, он видит сердца евреев. Он берет на руки их грехи, и у него опускаются руки: таких грехов никто не выдержит. Он хочет заплакать, но у него нет слез. Он — как это небо перед грозой: столпились тучи, нечем дышать, должен пролиться дождь, должен ударить гром, но нет, не может. Тихо и жутко в такой день на земле. Страшно старому Бешту. Он просит выдуманного бога: «Дай мне слезы, и я вымолю у тебя прощение всем евреям». Но бог оглох. Он хочет быть справедливым. Он заткнул себе уши, чтобы не растрогаться. И напрасно хлопочет Бешт.

Все страшней и страшней евреям. Они видят, что Бешт терзается. Они видят, что сам Бешт им не поможет. Они уже не кричат больше. Они уже прокричали все голоса. Тихо в синагоге, так тихо, как перед самой смертью, так тихо, сторож, как сейчас у меня на душе. Кажется, слышат евреи шелест страниц; это там, наверху, бог переворачивает новую страницу Книги судеб. Сейчас грянет гром. Сейчас захлопнет он тяжелую книгу, и конец, конец всем!

Вдруг среди этой скорбной тишины происходит полное неприличие. Куда только не пролезают разные нищие нахалы! Я вот попал прямо на гроб Рахили, а в ту синагогу, где столько было богачей и знаменитостей, тоже

прошмыгнул бедный портной. Его звали Шулимом. Он пришел со своим маленьким сыном, которому было года три или, самое большее, четыре. Шулим пришел молиться, а у ребенка в голове, конечно, не философия, там скорей всего детские проказы. Ему в синагоге скучно. Все стоят и молятся. Ну, час, ну, два, и ребенку надоело. Он дергает отца: «Я хочу к маме», но Шулиму не до него: бедный Шулим тоже вздумал разговаривать с богом. Ребенок не знает, что бы придумать, и тогда он вспоминает, что у него в кармане жестяная дудочка. Мама ему купила вчера на базаре за пять копеек этот богатый подарок. Он вынимает себе дудочку и хочет подуть, как отец, слава богу, замечает:

— Иоська, сейчас же спрячь эту глупость! Сегодня «Иом-Кипур», и надо плакать, а не играть на трубе.

Но этот Иоська упрямый. Он не хочет плакать. Он хочет обязательно дуть в дудочку. Уже все видят, какой полный скандал. Мало и так они согрешили, а здесь еще это безобразие в синагоге! Понятно, что бог обижается... Они даже обрадовались. Может быть, все дело не в их грехах, а в этом нахальном портном? Как он сюда затесался? И они гонят Шулима. Но тут вмешивается Бешт. Конечно, во время молитвы нельзя разговаривать, но все-таки Бешт говорит:

— Оставьте этого ребенка! Если он хочет дуть в дудочку, пусть дует.

Иоська, конечно, задул. Он дул в полное свое удовольствие. И грянул гром, и брызнули из глаз Бешта живые слезы, и сразу стало легко всем евреям. Не успели они опомниться, как настал вечер, вспыхнули звезды, кончился пост. Со слезами радости обнимали они друг друга: «Вот бог и простил нам все наши грехи. Мы недаром молились и недаром постились. Когда с нами Бешт, как же может бог на нас сердиться...» Почтительно обступают они Бешта:

— Рэби, вашей молитвой мы все спаслись.

Но Бешт качает головой.

— Нет. Было темно на небе, и там шла смертельная борьба. Ваши грехи весили столько, что их не могли перевесить никакие покаянные слезы. Бог закрыл себе уши. Бог запретил мне плакать. Бог не слышал больше моих молитв. Но вот раздался крик этого ребенка. Он дунул в дудочку, и бог услышал. Бог не выдержал. Бог улыбнулся. Это же была такая глупая забава, ровно за пять копеек, и

это было такое неприличие в великий пост!.. Но я скажу вам одно, умные евреи, вовсе не ваши доводы и не мои молитвы спасли наш город, нет, его спасла жестяная дудочка, один смешной звук от всего детского сердца... Поглядите скорее, как этот Иоська улыбается!..

Лазик замолк. Он слишком много говорил. Он еще дышал. Непонятно, как досказал он до конца историю о дудочке. Пот покрыл его тело. Сторож ворчал:

— Это все-таки непорядок, в «Иом-Кипур» позволить себе такие выходки! Ты это попросту выдумал, чтоб заговорить мне зубы. Но теперь ты поговорил, и ты можешь убираться. Слышишь?..

Лазик ничего не отвечал. Он даже не вздыхал. Тихо и легко умирал он.

Сторож понюхал табак, почесал бороду, потом, не понимая, что же приключилось с этим нахальным нищим, взял свечу и поднес ее к лицу Лазика.

— Ну, что это за поведение?..

Лазик лежал неподвижно. Он больше не дышал. На его мертвом лице была детская улыбка. Вот так улыбался маленький Иоська, когда ему позволили дунуть в дудочку. И увидев улыбку Лазика, сторож обомлел. Он забыл о деньгах за похороны. Он не повторял привычных молитв. Нет, выронив на пол свечу, он заплакал живыми слезами.

Спи спокойно, бедный Ройтшванец! Больше ты не будешь мечтать ни о великой справедливости, ни о маленьком ломтике колбасы.

Париж

Апрель—октябрь, 1927

ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ ЭРЕНБУРГ

Бурная жизнь Лазика Ройтшванца

Редактор В. С. ФОГЕЛЬСОН

Художественный редактор Т. А. СЕРЕБРЯКОВА

Технический редактор Н. Н. ТАЛКО

Корректор О. В. СЕЛИВАНОВА

Подписано к печати 03.01.91. Формат 84 × 108 1/32.
Бумага тип. № 1 Гарнитура «Таймс». Высокая печать.
Усл. печ. л. 10,92. Уч.-изд. л. 11,8. Тираж 100 000 экз. Цена 5 р. 60 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11.
При участии КРПА «Олимп».

Издание подготовлено к печати на персональных компьютерах.
Тульская типография Государственного комитета СССР по печати,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.
Заказ № 862

БИБЛИОТЕЧКА "ОЛИМПА"

**«Бурная жизнь Лазика
Ройтшванца»** — один из
лучших романов И. Эренбурга.
Написанный в 1927 году в Париже,
за прошедшие десятилетия он много-
кратно издавался за рубежом на разных
языках мира.

В нашей стране отдельной книгой
роман выпускается впервые.
Издание приурочено к 100-летию
со дня рождения Ильи Григорь-
евича Эренбурга.

